

Татьяна Толстая

Кысь



роман

Татьяна Толстая

Кысь. Зверотур. Рассказы

«Студия Артемия Лебедева»

Толстая Т. Н.

Кысь. Зверотур. Рассказы / Т. Н. Толстая — «Студия Артемия Лебедева»,

В книге представлено собрание прозы Татьяны Толстой: эссе «Зверотур», более двадцати рассказов и роман «Кысь», за который автор была удостоена премии «Триумф». «Кысь» — актуальная антиутопия, страшная и прекрасная сказка о гибели нашей цивилизации, о мутировавших горожанах, дичающих в радиоактивных лесах, но главное — о деградации языка, все еще узнаваемого, но уже малопонятно.

© Толстая Т. Н.
© Студия Артемия Лебедева

Содержание

Как работает рассказ Толстой	5
Кысь	10
Аз	10
Буки	16
Веди	20
Глаголь	22
Добро	27
Есть	31
Живете	34
Зело	37
Иже	43
И краткое	45
И десятиричное	50
Како	57
Люди	61
Мыслете	70
Наш	75
Он	80
Покой	85
Рцы	89
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Татьяна Толстая

Кысь. Зверотур. Рассказы

Как работает рассказ Толстой

Мне нравится все, что делает Толстая. Мне нравится, как она пишет про селедку под шубой и как она ее готовит. Мне нравятся ее опусы в периодике, полные гнева и пристрастия. Мне нравится ее легкая речь, спорую находчивость которой я успел оценить в наших долгих беседах на радио. Мне нравится дерзость эксперимента в ее причудливом романе «Кысь», сочиненном без оглядки на себя. Мне нравится, как она читает книги и как пишет о них, пересказывая не столько сюжет, сколько автора. Мне нравится, как она отделяет литературу от жизни, не позволяя первой вытеснить вторую. Еще мне нравится, как внимательна она к окружающему.

Договариваясь о первой встрече, я назвал, как это водится в Нью-Йорке, не только удобное место на Бродвее, но и северо-восточный угол перекрестка. Не привыкшие к элементарной геометрии Манхэттена европейцы редко справляются со сторонами света, но Татьяна была на месте и вовремя. Она вообще никогда не опаздывает и никуда не торопится. И это мне тоже нравится – то, что она ведет себя в мире хозяйкой обстоятельств.

Однажды мы пришли в ресторан, где могучий динамик встретил нас песней с глагольными рифмами и восточными переливами.

– Музыку уберите, – бегло сказала Толстая официантке, разворачивая меню.

Тише, однако, не стало.

– Молодожены просят, – объяснила девушка, расставляя закуски.

– Пусть друг с другом поговорят, – распорядилась Татьяна.

И те, застеснявшись от наступившего на них молчания, действительно заговорили, робко и горячо.

Мне нравится, что Татьяна чувствует себя дома всюду, где нам доводилось вместе бывать – в Вашингтоне и во Франкфурте, в горах и на море, на Крите и в Москве, у себя в Питере и у меня в Риге.

Мне, повторяю, нравится все, что Татьяна делает и пишет, но то новое, главное и бесценное, что она навсегда принесла в русскую литературу, является рассказом Толстой.

Уникальным рассказ Толстой делает сама Толстая. Ее авторский персонаж подминает под себя повествование, и то, что ведется от себя, и то, что – от других. Распоряджаясь текстом в одиночку, она не дает спуска своим героям. Без ее ведома герой рта не смеет открыть. У Толстой нет, как, скажем, у Довлатова, подслушанных реплик. Чужое слово в рассказ проникает лишь с ее разрешения и только после того, как автор перекладывает его на свой язык. Поэтому у Толстой не может быть диалога. Все здесь говорят одинаково, обычно – молча, про себя. Текст составляют перемежающиеся внутренние монологи, которые Толстая сдает напрокат персонажам, чтобы они стали героями.

В сущности, они даже не ведают, что говорят, ибо за них чрево вещает автор. Вот голос старой Шуры: «Так и умер, царствие ему небесное. А третий муж был не очень». А вот что они говорят уже вместе с автором: «Крым, тринадцатый год, полосатое солнце сквозь жалюзи распиливает на кусочки белый выскобленный пол» («Милая Шура»). Соскользя с изложения событий в их изображение, рассказ открывается, как в кино, где черно-белый пролог срыгается в цветной эпизод. Первый вводит нас в настоящее время, второй переносит в восстановленное – вспомненное – прошлое.

Любимое наклонение Толстой – повелительное. «Смотри скорее, пока не погасло!», «Нет, постойте, дайте вас рассмотреть!», – то ли просит, то ли приказывает автор. И еще она постоянно задает вопросы: «Если ли среди них тот, кто тебе нужен?», «Сколько было Соне лет?» («Соня»). Никто, кроме Толстой, не может ответить, но как раз она не торопится это сделать, позволяя рассказу медленно рассказывать себя ее словами.

Дело в том, что Толстая пренебрегает грубым произволом вымысла. Она доверяет только тому достоверному материалу, что поставляет память. Вспоминая, она, как учил Платон, соприкасается с подлинной реальностью. Возможно, та ждет нас на небе, но здесь, на земле, метафизика начинается с порога, отделяющего жизнь от памяти. Одна существует во времени, другая – в неизменном настоящем: все, что мы помним, существует сейчас, в момент воспоминания. Зная, что его нельзя «ухватить грубыми телесными руками» («Соня»), Толстая, опять по Платону, полагается на внутреннее зрение. Включить и отточить его – задача автора, которую Толстая часто выполняет при свидетелях: «Светлая комната дрожит и меркнет, и уже просвечивают марлей спины сидящих, и со страшной скоростью, распадаясь, уносится вдаль их смех – догони-ка».

Чтобы догнать живых людей, Толстая часто начинает с их муляжей – фотографий. Они – подмога и вызов автору, стремящемуся оживить тени, наделить их плотью и голосом. Семейный альбом – рычаг спиритического сеанса. Вызывая мертвых, Толстая пользуется старыми фотографиями. Раньше снимались реже – обычно на курорте, свадьбе, именинах и юбилеях. Поэтому и жизнь казалась нарочитой и праздничной. Этот нереалистический, театральный оттенок застывшего торжества задает тон рассказу.

Запуская действие, Толстая поднимает занавес, оканчивая – опускает его. Такое происходит и в каждой сцене при смене декораций: «Закат играет всеми цветами, то красную полосу пустит, то лиловую, потом золотая корочка загорится на туче, или все морозной зеленью подернется, лимоном, блеснет звезда. Лучше телевизора» («Пламень небесный»). Последняя фраза снимает красоту предыдущей ремарки, не отменяя и не снижая, а прекращая ее падением занавеса.

Собственно, им начинается и кончается каждый рассказ. У него нет ни традиционного зачина, ни законного финала. По пути к последней точке фабула не успевает исчерпать сюжета. Мы просто входим и выходим из рассказа, когда нас приглашают и когда провожают. Скорее зрители, чем читатели, мы должны всё понять сами. На автора рассчитывать не приходится. Толстая ничего не объясняет и ни о ком не заботится. Она пишет, как это называл и практиковал Мандельштам, «опущенными звеньями». Поэтому ей хватает одного предложения, чтобы вместить пейзаж с биографией: «Осень вошла к дяде Паше и ударила его по лицу» («На золотом крыльце сидели»). Исключая все реалии, кроме самых ярких, Толстая создает портрет своего мира. В нем нет места служебным подробностям. Перестроенные по ее схеме вещи и люди ведут себя так, как надо автору – и тексту.

Меня исходный материал своей прозы, Толстая достигает гиперреальности, свойственной настоящим стихам. Это значит, что каждое лыко в строку. Здесь случайное переплавляется в необходимое, а если где и остается проплешина, то Толстая, подчеркивая тем самым сплошной характер остального текста, сама на нее честно указывает: «Нет, я плохо вижу» («Милая Шура»).

Казалось бы, здесь она проговорила, раскрыв прием, памятный по Булгакову: «Что видишь, то и пиши». Но это – ложный ход, обман зрения.

Письмо Толстой громче голоса и зорче взгляда. Ее экстатическая проза создает иную степень изобразительной интенсивности. Поток повествования срывает сенсорные фильтры, и органы чувств работают в сверхнормальном режиме, отчего перепутанные датчики обретают дополнительные возможности.

Толстая «знает, как пахнет буква “Ф”» («Ночь»), она слышит «боль, которая гудит, как трансформатор» («Пламень»), она шупает «ватную метель» и пробует «пресное городское солнце» («Огонь и пыль»). У нее есть рассказ с осязанием, где читатель не воображает, а ощущает меховое родство шубы с шапкой («Спи спокойно, сынок»). Также – всеми чувствами сразу – Толстая воспринимает словесность: «густые, многозначительные стихи наподобие дорогих заказных тортов с затейливыми надписями, с торжественными меренговыми башнями, стихи, отяжеленные словесным кремом до вязкости, с внезапным ореховым хрустом звуковых скоплений, с мучительными, вредными для желудка тянучками рифм» («Поэт и муза»).

У Толстой, впрочем, писатели появляются редко и в чужой роли, вроде Лермонтова на сером волке. Даже знаменитые цитаты, попав в ее текст, теряют осмысленность. Этакая песня разума, новая и узнаваемая сразу:

Бурям, глюю, небак, рует,
Вихрь, нежны, екру, тя!
Токаг, зверя, наза, воет,
Тоза, плачет, кагди, тя!

То, что так Пушкина слышит debil («Ночь»), отнюдь не компрометирует глоссологию. По Толстой, он правильно понимает поэзию, ибо изъятые из общего языка слова оказываются своими, интимными, персональными, будто впервые придуманными. Часто она сама пользуется словами, не помнящими родства, – с разовым, ситуационным значением. И тогда ее неожиданные эпитеты вколачиваются в строку, как клин. Распирая абзац, он прочно удерживает фразу на поверхности страницы. Описывая внешность своей героини – «Пышная, золотая, яблочная красота» («Любишь – не любишь»), – Толстая не примеряет определения, а быстро нанизывает их в том бессистемном порядке, в котором они приходят и остаются, отбивая себе место в тексте и делая его законным.

Метафоры Толстой работают еще больше эпитетов. Внимательная читательница Олеши, сказавшего, что, в конце концов, всё на всё похоже, она вовсе не пытается определить одно через другое. Если в рассказе встречается «черная пасть телефонной трубки» («Соня»), то аналогию рождает не внешнее, а функциональное сходство. С точки зрения Сони, у телефона нет уха, а только рот, из которого звучат приказы.

Метафора, как знает каждый, кто бывал в Греции, где это слово пишут на борту грузовика, означает «перевозка». Толстая, жившая там, понимает это лучше других и всегда употребляет свои метафоры по назначению. Они переносят читателя из одного мира в другой: из нашего – в ее. Поэтому Толстая не позволяет своим метафорам простаивать. Они служат не дополнительным украшением, вроде фальшивых колонн, а топливом перемен. Потребляя метафоры, рассказ строится и разворачивается, проникая все глубже в реальность, обнаруживая в ней все новые слои.

Нашупав (скорее – открыв) в окружающем богатую возможностями метафору, Толстая не отпускает ее, пока та не отдаст тексту всю свою повествовательную энергию. Чтобы прочертить маршрут рассказа, следует проследить за приключениями его ключевой метафоры.

В «Свидании с птицей» ею стала Атлантида. Впервые она появляется в манной каше, где в тарелке тает «масляная Атлантида». Проглотив ее на следующей странице, мальчик Петя заражается утраченным знанием, позволяющим ему проникнуть в тот авторский мир, что «весь пропитан таинственным, грустным, волшебным». Попав сюда, герой отправляется «на поиски пропавшей, соскользнувшей в зеленые зыбкие океанские толщи Атлантиды». Он находит ее

следы через две страницы: «На рубле маленькими буквами – непонятные, оставшиеся от атлантов слова: бир сум. Бир сом. Бир манат». Это – язык теперь уже (но не тогда, когда рассказ был написан!) прошлой, тоже растаявшей империи. Непонятные, загадочные слова не нуждаются в переводе, как пароль, открывающий дверь волшебного мира. Этот мир просвечивает сквозь наши будни, как через упомянутую у Толстой марлю.

Толстую влечет инобытие. Как всех. Но только у нее другая реальность материализуется в артефактах, само существование которых – манифестация чуда. «Приходили известия: в мире появились странные предметы, с виду никчемные, бесполезные, но исполненные некоего тайного смысла, указатели, ведущие в никуда». Всем знакомые и никем не понятые, эти магические вещи служат для посвященных мостами, соединяющими две стороны света – ту и эту. «Таков был Чебурашка – дерзкий вызов школьному дарвинизму, непарное мохнатое звено эволюции, выпавшее из расчисленной цепи естественного отбора. Таков был кубик Рубика, ломкий, изменчивый, но вечно единый гексаэдр» («Круг»).

Распознать суть вещей обычно могут лишь те, кто еще не успел подняться «с волшебного дна детства» («На золотом крыльце сидели»). У детей, как у Платона, взгляд проникает сквозь своды той пресловутой пещеры, что прячет нас от истины. Мы, как известно, видим лишь ее тень, зато детям достается большая часть реальности, потому что они ближе к другому концу.

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

(Мандельштам)

С другой стороны у того же предела дежурит старость. У нее Толстая тоже занимает такую точку зрения, которая уже исключает героев из этой действительности. Не зря вместе с детьми по рассказам Толстой бродят впавшие в детство старушки. Их истощившаяся жизнь состоит из одних воспоминаний. Лишенные забот о настоящем, они погружены в тот идеальный – умо-зрительный – мир, изображение которого и составляет творчество Толстой.

Центральная ситуация Толстой – потерянный рай: было, да сплыло. Ее герои – изгнанники. Сдвинутые по фазе, они не могут окончательно совпасть со своей жизнью. Им мешает даже не надежда на возвращение, а смутные воспоминания о чудесной родине.

Люди, – говорит Толстая всей своей прозой, – заблудившаяся раса, мы не там, где нам полагается быть.

Принимая эту горькую весть, можно сказать, что Толстая пишет рассказы о пропавшем счастье. Однако чтобы было чему пропасть, счастье сперва должно найтись. Поэтому можно сказать, что это – рассказы о найденном счастье. Или – рассказы о воскрешенном, возрожденном в тексте – счастье. В результате, если вырезать переменные и вычленить неизменное, то окажется, что рассказы Толстой – о счастье. И это объясняет завораживающую прелесть ее сочинений.

Татьяна любит рассказывать историю о том, как в одной итальянской церкви ей довелось встретить слепого с поводырем. Как повсюду в туристских краях, храм из экономии был погружен в сумрак. За свет нужно платить отдельно. Другие из экономии вглядывались в темноту, но слепец щедро кормил монетками автомат, отчего у стены ненадолго вспыхивал прожектор. Каждый раз яркий луч выхватывал голубую от неба фреску, и поводырь шепотом описывал слепому детали.

Александр Генис

Нью-Йорк, 2009

Кысь

Аз

Бенедикт натянул валенки, потопал ногами, чтобы ладно пришлось, проверил печную выюшку, хлебные крошки смахнул на пол – для мышей, окно заткнул тряпицей, чтоб не выстудило, вышел на крыльцо и потянул носом морозный чистый воздух. Эх, и хорошо же! Ночная выюга улеглась, снега лежат белые и важные, небо синее, высоченные клели стоят – не шелохнутся. Только черные зайцы с верхушки на верхушку перепархивают. Бенедикт постоял, задрал кверху русую бороду, сощурился, поглядывая на зайцев. Сбить бы парочку – на новую шапку, да камня нету.

И мясца поесть бы неплохо. А то все мыши да мыши – приелись уже.

Если мясо черного зайца как следует вымочить, да проварить в семи водах, да на недельку-другую на солнышко выставить, да упарить в печи, – оно, глядишь, и не ядовитое.

Понятно, если самочка попадется. Потому как самец, его вари не вари – он все такой же. Раньше-то не знали, ели и самцов с голодухи. А теперь дознались: кто их поест – у того на всю жизнь в грудях хрипы и булькотня. И ноги сохнут. И еще волос из ушей прет: черный, толстый, и дух от него нехороший.

Бенедикт вздохнул: на работу пора; запахнул зипун, заложил дверь избы деревянным брусом и еще палкой подоткнул. Красть в избе нечего, но уж так он привык. И матушка, покойница, всегда так делала. В старину, до Взрыва, рассказывала, все двери-то свои запирали. От матушки и соседи этому обучились, оно и пошло. Теперь вся их слобода запирала двери палками. Может, это своеволие, конечно.

На семи холмах раскинулся городок Федор-Кузьмичск, родная сторонка, и шел Бенедикт, поскрипывая свежим снежком, радуясь февральскому солнышку, любясь знакомыми улочками. Там и сям черные избы вереницами – за высокими тынами, за тесовыми воротами; на кольях каменные горшки сохнут или жбаны деревянные; у кого терем повыше, у того и жбаны поздоровей, а иной целую бочку на кол напялит, в глаза тычет: богато живу, голубчики! Такой на работу не пешедралом трюхает, а норовит в санях проехаться, кнутом помахивает; а в сани перерожденец запряжен, бежит, валенками топчет, сам бледный, взмыленный, язык наружу. Домчит до рабочей избы и встанет как вкопанный на все четыре ноги, только мохнатые бока ходуном ходят: хы-хы, хы-хы.

А глазами так и ворочает, так и ворочает. И зубы скалит. И озирается...

Ай, ну их к лешему, перерожденцев этих, лучше от них подальше. Страшные они, и не поймешь, то ли они люди, то ли нет: лицо вроде как у человека, туловище шерстью покрыто и на четвереньках бегают. И на каждой ноге по валенку. Они, говорят, еще до Взрыва жили, перерожденцы-то. А все может быть.

Морозец нынче, изо рта парок пыхает, и борода вся заиндевевши. А все равно благодать! Избы стоят крепкие, черные, вдоль заборов – высокие сугробы, и к каждым-то воротам тропочка протоптана. Холмы плавно сбегает вниз и плавно подымаются, белые, волнистые; по заснеженным скатам скользят сани, за санями – синие тени, и снег хрустит всеми цветами, а за холмами солнышко встает и тоже играет радужным светом в синем небе. Прищуришься – от солнышка лучи идут кругаями, поддашь валенком пушистый снег – он и заискрится, словно спелые огнецы затрепетали.

Бенедикт подумал об огнецах, вспомнил матушку и вздохнул: вот из-за тех огнецов и преставилась, сердешная. Ложными оказались.

На семи холмах лежит городок Федор-Кузьмичск, а вокруг городка – поля необозримые, земли неведомые. На севере – дремучие леса, бурелом, ветви переплелись и пройти не пускают, колючие кусты за порты цепляют, сучья шапку с головы рвут. В тех лесах, старые люди рассказывают, живет кысь. Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно: кы-ысь! кы-ысь! – а видеть ее никто не может. Пойдет человек так вот в лес, а она ему на шею-то сзади: хоп! и хребтину зубами: хрусь! – а когтем главную-то жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека и выйдет. Вернется такой назад, а он уж не тот, и глаза не те, и идет, не разбирая дороги, как бывает, к примеру, когда люди ходят во сне под луной, вытянувши руки, и пальцами шевелят: сами спят, а сами ходят. Поймают его и ведут в избу, а иной раз для смеху поставят ему миску пустую, ложку в руку вторнут: ешь; он будто и ест, из пустой-то миски, и зачерпывает, и в рот несет, и жует, а после словно хлебом посудину обтирает, а хлеба-то в руке и нет; ну, родня, ясно, со смеху давится. Такой сам ничего делать не может, даже оправиться не умеет: каждый раз ему заново показывай. Ну, если жене или там матери его жалко, она его с собой в поганный чулан водит; а ежели за ним приглядеть некому, то он, считай, не жилец: как пузырь лопнет, так он и помирает.

Вот чего кысь-то делает.

На запад тоже не ходи. Там даже вроде бы и дорога есть – невидная, вроде тропочки. Идешь-идешь, вот уж и городок из глаз скрылся, с полей сладким ветерком повеваает, все-то хорошо, все-то ладно, и вдруг, говорят, как встанешь. И стоишь. И думаешь: куда же это я иду-то? Чего мне там надо? Чего я там не видел? Нешто там лучше? И так себя жалко станет! Думаешь: а позади-то моя изба, и хозяйшкa, может, плачет, из-под руки вдаль смотрит; по двору куры бегают, тоже, глядишь, истосковались; в избе печка натоплена, мыши шастают, лежанка мягкая... И будто червь сердце точит, точит... Плюнешь и назад пойдешь. А иной раз и побежишь. И как завидишь издали родные горшки на плетне, так слеза и брызнет. Вот не дать соврать, на аршин брызгает! Право!..

На юг нельзя. Там чеченцы. Сначала все степи, степи – глаза вывалятся смотреть, – а за степями чеченцы. Посреди городка стоит дозорная башня с четырьмя окнами, и во все четыре окна смотрят стражи. Чеченцев высматривают. Не столько они, конечно, смотрят, сколько болотную ржавь покуривают да в палочку играют. Зажмет кто-нибудь в кулаке четыре палочки: три длинные, одну короткую. Кто короткую вытянет – тому щелбан. Но бывает, и в окошко поглядывают. Если завидят чеченцев, велено кричать: «Чеченцы! Чеченцы!», тогда народ со всех слобод сбежится, палками в горшки бить начнет, чеченцев страшать. Те и шуганутся подальше.

Раз так двое с юга подступили к городку: старик со старухой. Мы в горшки колотим, топочем, кричим, а чеченцам хоть бы что, только головами вертят. Ну, мы – кто посмелей – вышли им навстречу с ухватами, веретенами, кто с чем. Что, дескать, за люди и зачем пожаловали.

– Мы, голубчики, с юга. Вторую неделю идем, совсем обезножели. Пришли менять сыромятные ремешки, может, у вас товар какой.

А какой у нас товар? Сами мышей едим. «Мыши – наша опора», так и Федор Кузьмич, слава ему, учит. Но народ у нас жалостливый, собрали по избам кто чего, выменяли на ремешки и отпустили их с богом. После много о них разговору было: все вспоминали, какие они из себя, да что за сказки рассказывали, да зачем они к нам-то шли.

Ну, из себя они, как мы, обычные: старик седой, в лаптях, старушка в платочке, глазки голубенькие, на голове – рожки. А сказки у них были долгие да печальные: хоть Бенедикт тогда мал был да глуп, но слушал во все уши.

Будто лежит на юге лазоревое море, а на море на том – остров, а на острове – терем, а стоит в нем золотая лежанка. На лежанке девушка, один волос золотой, другой серебряный, один золотой, другой серебряный. Вот она свою косу расплетает, все расплетает, а как расплетет – тут и миру конец.

Наши слушали-слушали, потом:

– Что, дескать, значит слово такое: «золотой», и что – «серебряный»?

А они:

– «Золотой» – это вроде как огонь, а «серебряный» – как лунный свет или же, к примеру, как огнецы светятся.

Наши:

– А, ясно. Ну, еще расскажите.

А чеченцы:

– Есть большая река, отсюда пешего ходу три года. В той реке живет рыба – голубое перо. Говорит она человеческим голосом, плачет и смеется и по той реке туда-сюда ходит. Вот как она в одну сторону пойдет да засмеется – заря играет, солнышко на небо всходит, день настает. Пойдет обратно – плачет, за собой тьму ведет, на хвосте месяц тащит, а часты звездочки – той рыбы чешуя.

Наши:

– А не слышать, отчего зима бывает и отчего лето?

Старуха говорит:

– А не слыхивали, милые, врать не буду, не слыхивали. А тому, правда, многие дивятся: зачем бы зима, когда лето куда слаще. Видно, за грехи наши.

Но старик головой покрутил.

– Нет, – говорит, – на все должно быть свое объяснение из природы. Мне, – говорит, – один прохожий человек разъяснял. На севере стоит дерево вышиной до самых туч. Само черное, корявое, а цветики на нем белые, ма-а-ахонькие, как соринки. На дереве мороз живет, сам старый, борода за кушак заткнута. Вот как к зиме дело, как куры в стаи собьются да на юг двинутся, так мороз за дело принимается: с ветки на ветку перепрыгивает, бьет в ладоши да приговаривает: ду-ду-ду, ду-ду-ду! А потом как засвищет: ф-щ-щ-щ! Тут ветер подымается и те белые цветы на нас сыплет: вот вам и снег. А вы говорите: зачем зима.

Наши голубчики говорят:

– Да, это правильно. Это так, должно быть. А ты вот, дедуля, неужто не боишься по дорогам ходить? Как же ночью-то? Не встречал ли лешего?

– Ой, встречал! – говорит чеченец. – Совсем близко видел, вот как вас, к примеру. Вот слушайте. Захотелось моей старухе огнецов покушать. Принеси да принеси. А огнецы в тот год поспели сладкие, тянучие. Я и пойди. Один.

– Как один? – опешили наши.

– А вот так! – похвастался чужанин. – Ну, слушайте дальше. Иду я себе, иду, а тут стемнело. Не то чтобы очень, а так, серенько стало. Иду это я на цыпочках, чтобы огнецов не спугнуть, вдруг: шу-шу-шу! Что такое. Посмотрел – никого. Опять иду. Тут опять: шу-шу-шу. Будто кто по листьям ладонью водит. Я оглянулся – опять никого. Еще шаг шагнул. И вдруг он прямо передо мной. Вот только что ничего не было, и вот уж он тут. Вот – руку протяни. И ведь небольшой такой. Может, мне по пояс али по титьки будет. Весь будто из старого сена сваян, глазки красным горят, а на ногах – ладоши. И он этими ладошами по земле притупывает да приговаривает: тяпа-тяпа, тяпа-тяпа, тяпа-тяпа... Ой и бежал же я!.. Не знаю, как и дома очутился. Так моей старухе огнецов и не досталось.

Тут детишки, которые слушали, просят:

– Расскажи, дедушка, какую еще нечисть в лесу видать.

Налили старику квасу яичного, он и начал:

– Был я тогда молодой, горячий. Ничего не боялся. Раз три бревна вместе лыком обвязал, на воду спустил – а речка у нас быстрая, широкая, – сел на них и плыву. Право слово! Бабы на берег сбежались, крик, визг, все как положено. Где же видано, чтобы человек по воде плавал? Это теперь, говорят, бревно долбят да на воду спускают. Коли не врут, конечно.

– Не врут, не врут! Это наш Федор Кузьмич придумал, слава ему! – кричат наши, а Бенедикт громче всех.

– Федор Кузьмич так Федор Кузьмич. Мы не знаем. Не ученые. Речь не об том. Ничего, я говорю, не боялся. Ни русалок, ни пузыря водяного, ни кочевряжки подкаменной. Я даже рыбку-вертизубку ведром поймал.

– Ну уж это... – наши говорят. – Это уж ты, дед, заврался.

– Правду говорю! Вот и старуха моя не даст соврать!

– Верно, – старуха говорит. – Было. Ой же я его ругала! Ведро опоганил, сжечь пришлось. А новое ведь пока выдолбишь, пока продубишь да просмолишь, да по три раза просушишь, да ржавью окуришь, да синим песком натрешь, – все-то я рученьки пообломала, надрываючись. А ему, вишь, доблесть одна. Потом вся деревня на него смотреть ходила. Кто и опасался.

– Естественно, – наши говорят.

Старик-то доволен.

– Зато, может, я один такой, – хвастает. – Чтоб вертизубку так близко видеть – вот как вас, к примеру, – и живым остаться. Что вы!.. Я богатырь был. Силища! Бывало, ка-ак заору! Пузыри в окнах лопаются. А сколько я ржави зараз выпить мог! Бочку усаживал.

А Бенедиктова матушка – она тут же сидела – губы поджала и говорит:

– А конкретную пользу вы из своей силы извлекали? Что-нибудь общественно-полезное для коммуны сделали?

Старик обиделся.

– Я, голубушка, в молодые-то годы мог на одной ноге отсюда как вон до того пригорка допрыгать! А не пользу. Я, говорю тебе, бывало, как гаркну – солома с крыш валится. У нас все в роду такие. Богатыри. Вот старуха не даст соврать: у меня если мозоль али чирей вскочит – аж с кулак. Не меньше. У меня, я тебе скажу, прыщи вот такие были. Вот такие. А ты говоришь. Да если хочешь знать, у меня батя, бывало, голову почешет – с полведра перхоти натрясет.

– Да ладно вам! – шумят наши. – Ты, дедуль, про нечисть обещал.

Но дед, видно, не на шутку обозлился.

– Ничего говорить не буду. Приходят тут слушать... так слушай! А не подъялдыкивай. Всю, понимаешь, мечту разворотила. Небось из Прежних, поговору чую.

– Это точно, – наши на матушку косятся. – Из Прежних... Давай, дедушка, начинай.

Рассказал еще чеченец про страсти лесные, про то, как тропинки различать: которые всамделишные, а которые – морок один, зеленый пар, травяная кудель, волшебство и наваждение, – все приметы доложил; про то, как русалка на заре поет, кулдычет водяные свои песни: поначалу низко так, глубоко возьмет: ы,ы,ы,ы, потом выше забирает: оуааа, оуааа, – тогда держись, гляди в оба, не то в реку затянет, – а уж когда песня на визг пойдет: ййих! ййих! – тут уж беги, мужик, без памяти. Рассказал про лыко заговоренное и как его опасаться надо; про Рыло, что народ за ноги хватает; и про то, как ржавь самую лучшую ищут.

Тут Бенедикт высунулся:

– Дедушка, а кысь видели?..

Посмотрели на него все как на дурака. Помолчали. Ничего не ответили.

Проводили бесстрашного старика, и опять в городке тишина. Дозор усилили, но больше на нас с юга никто не нападал.

Нет, мы все больше на восход от городка ходим. Там леса светлые, травы длинные, муравчатые. В травах – цветики лазоревые, ласковые: коли их нарвать, да вымочить, да побить, да расчесать – нитки прясть можно, холсты ткать. Покойная матушка на этот промысел непроторенная была, все у нее из рук валялось. Нитку сучит – плачет, холсты ткет – слезами заливается. Говорит, до Взрыва все иначе было. Придешь, говорит, в МОГОЗИН – берешь что хочешь, а не понравится, – и нос воротишь, не то что нынче. МОГОЗИН этот у них был вроде Склада,

только там добра больше было, и выдавали добро не в Складские дни, а целый день двери растворены стояли.

Что-то не верится. Ведь это ж каждый забеги и хватай? Это ж сторожей не напасешься? Нас ведь только пусти: все разнесем до щепочки. А сколько народищу передадим? Ведь и в Склад идешь – глазами по сторонам зыркаешь: кому что дали, да сколько, да почему не мне?

А и смотрим зря: больше положенного не унесешь. Да не очень-то на чужой талан и зазевывайся: мигом тебе Складские Работники накладывают тулумбасов-то по шее. Получил, мол, свое – и проваливай! Не то и положенное отымем.

Вот идешь из Склада с туесами, поспешаешь к себе в избу, нет-нет да и пощупаешь в туесах-то: все ли мое тут? Может, недоложили чего? Али сзади кто подкрался в переулке да и поживился, цопнул?

А бывает. Шла раз матушка со склада, а выдали ей воронье перо. На перину. А оно же легкое, несешь – будто и нет ничего. Пришла домой, холстину отдернула – батюшки-светы: пера нету, а вместо пера – говёшки. Ну, матушка в слезы, а отец хохотать. Ведь какой тать веселый оказался: не только добро попер, а еще и выдумку учудил, да с подковыринкой: вот, дескать, цена перу-то вашему. На-кося!

А объявилось перо у соседа. Отец его тягать: где взял? На торжище. На что сменял? На валенки. У кого? Сосед начал не знать: да я что, да я ничего, да я ржави упился, – что с него возьмешь. Так и отстали.

Ну что в Складе дают? Казенную колбаску из мышатинки, мышинное салыце, муку из хлеба, перо вот, потом валенки, конечно, ухваты, холст, каменные горшки: по-разному выходит. Иной раз накладывают в туесок запселых огнецов, – где-то они там провоняли, так их и выдают. За хорошими огнецами самому идти надо.

Вот в аккурат на восход от городка стоят клелевые леса. Клель – самое лучшее дерево. Стволы у нее светлые, смолистые, с натеками, листья резные, узорчатые, лапчатые, дух от них здоровый, одно слово – клель! Шишки на ней с человеческую голову, и орешки в них – объеденье! Если их вымочить, конечно. А то их в рот не возьмешь. На самых старых клелях, в глуши, растут огнецы. Уж такое лакомство: сладкие, круглые, тянучие. Спелый огнец величиной с человеческий глаз будет. Ночью они светятся серебряным огнем, вроде как месяц сквозь листья луч пустил, а днем их и не заметишь. Выходят в лес засветло, а как стемнеет, все берутся за руки и идут цепью, чтобы не потеряться. А еще чтобы огнец не догадался, что это, дескать, люди. Отрывать их надо быстро, чтобы огнец не всполошился и не заголосил. А не то он других предупредит, и они враз потухнут. Можно, конечно, и на ощупь рвать. Но не рвут. А ну как ложных наберешь? Ложные, когда светятся, будто красный огонь сквозь себя продувают. Вот такими-то – ложными – матушка в свое время и отравилась. А так бы жить ей да жить.

Двести тридцать лет и три года прожила матушка на белом свете. И не состарилась. Как была румяной да черноволосой, такой ей и глаза закрыли. Это уж так: ежели кто не тютюхнулся, когда Взрыв случился, тот уж после не старится. Это у них такое Последствие. Будто в них что заклинило. Но таких, почитай, раз, два и обчелся. Все в земле сырой: кого кысь испортила, кто зайцами отравился, матушка вот – огнецами...

А кто после Взрыва родился, у тех Последствия другие, – всякие. У кого руки словно зеленой мукой обметаны, будто он в хлебеде рылся, у кого жабры; у иного гребень петушинный али еще что. А бывает, что никаких Последствий нет, разве к старости прыщи из глаз попрут, а не то в укромном месте борода расти учнет до самых до колен. Или на коленях ноздри вскочат.

Бенедикт иной раз допытывался у матушки: отчего да отчего был Взрыв? Да она толком не знала. Будто люди играли и доигрались с АРУЖЫЕМ. Мы, говорит, и ахнуть не успели. И плачет. «Раньше, – говорит, – лучше жили». А отец – он после Взрыва родился – на нее опалается:

– Неча, мол, старое-то поминать! Как живем, так и живем! Не нами заведено!

Матушка ему:

– Мужичье! Каменный век! Хам!

Он ее за волосы таскать. Она в крик, соседей зовет, а соседи – ни гугу: правильно, муж жену учит. Не наше дело. Битая посуда два века живет. Он на нее почему серчал: она все молодая да молодая, а он на убыль пошел; на ногу припадать стал, и глаза, говорит, будто темная вода застит.

Матушка ему:

– Ты меня пальцем тронуть не смеешь! У меня ОНЕВЕРСТЕЦКОЕ АБРАЗОВАНИЕ!

А он:

– А я вот ты сейчас отшелушу: «абразование»! Я ты собью с пахвей! Дала сыну собачье имя, на всю слободу ославила!

И такое срамословие пойдет, такие перекоры – пока свою бороду не оплюет, не уймется. Крут был тятенька. Налаявшись, умается; нацедит браги полную криницу да и упёхтается до бесчувствия. А матушка волоса пригладит, подолом утрется, возьмет Бенедикта за руку и уведет его на высокий холм над рекою; там – он уж знал – она раньше жила, до Взрыва-то. Там матушкина пятиярусная изба стояла, а матушка сказывала, что и выше хоромы бывали, пальцев не хватит ярусы перечесать; так это что же: скидавай валенки да по ногам считай? Тогда Бенедикт только счету учился. На камушках ему считать еще рано было. А теперь, слышать, Федор Кузьмич, слава ему, счетные прутики изобрел. Говорят, будто деревяшечки просверлишь, на прутики нанижешь и справа налево перекидываешь. И такой, говорят, быстрый счет пойдет, только держись! Только сам счеты ладить не смей, а кому надо – приходи в базарный день на торжище, уплати сколько велено – холстом берут, мышами, – да и считай сколько влезет. Так говорят; правда, нет ли, – кто знает.

...Вот матушка на холм придет, сядет на камушек, плачет-заливается, горячими слезами умывается, то подруженек своих вспомянет, красных девушек, то МОГОЗИНЫ эти ей представятся. А все улицы, говорит, были ОСФАЛЬТОМ покрыты. Это будто бы такая мазь была, твердая, черная, ступишь – не провалишься. Вот если погода летняя, сидит матушка, причитает, а Бенедикт в грязи играет, куличики из глины лепит, а то нарвет желтунчиков и в землю втыкает, будто тын городит. А вокруг раздолье: холмы, да ручьи, да ветерок теплый, ходит – траву колышет, а по небу солнышко колобком катится, над полями, над лесами, к Голубым горам.

А зовется наш город, родная сторонка, – Федор-Кузьмичск, а до того, говорит матушка, звался Иван-Порфирычск, а еще до того – Сергей-Сергеичск, а прежде имя ему было Южные Склады, а совсем прежде – Москва.

Буки

Сызмальства Бенедикт ко всякой работе отцом приучен. Каменный топор изготовить – шутка ли? А он может. Избу срубить – срубит, хочешь – в угол, хочешь – в лапу, по-всякому. Печь сложить умеет. Баньку спроворить. Отец, правда, мыться не любил. Живет, говорит, медведь и не умывшись. А Бенедикту нравилось. Заползет в баньку, в теплое нутро, плеснет на камни яичного квасу, чтоб дух пошел, распарит клелевый веник и знай себя по бокам охаживать!

Умеет Бенедикт скорняжить, сыромятные ремешки из зайца резать, шапку сшить – ему все с руки. Да того зайца еще поди поймай. Только наладишь в него камнем попасть, а он порх! – и улетел. Так что все больше из мышиных шкурок одежду кроим, а оно не так сподручно. Известно: из большого выкроишь, а из малого зубами не натянешь.

Короче, все по хозяйству может. Да и как иначе? Федор Кузьмич, слава ему, объявил: «Хозяйство – дело рук каждого, разбирайся сам». Отец Бенедикта до самой смертной истуги в древорубах ходил и Бенедикта думал к тому ремеслу пристроить. А Бенедикт хотел в истопники податься. Заманчиво. Истопнику – почет и уважение, все перед ним шапки ломают, а он идет – никому не кланяется, чванливый такой.

И то сказать: куды ж без огня? Огонь поит, огонь кормит, огонь греет, огонь песенки поет. Умрет огонь – и нам на лавки ложиться, глаза камушками закрывать. А было время, говорят, огня не знали. Как же жили? А так и жили: ползали во тьме, как слепые червяки. А принес огонь людям Федор Кузьмич, слава ему. Ах, слава ему! Пропали бы мы без Федора Кузьмича, ей-ей, пропали бы! Все-то он возвел и обустроил, все-то головушкой своей светлой за нас болеет, думу думает! Высоко вознесся терем Федора Кузьмича, маковкой солнце застит. День и ночь не спит Федор Кузьмич, все по горенке похаживает, пышну бороду поглаживает, о нас, голубчиках, кручинится: сыты ли мы, пьяны ли мы, нет ли в чем нам досады какой али увечья какого? Есть у нас малые мурзы, а Федор Кузьмич, – слава ему, – Набольший Мурза, долгих лет ему жизни. Кто сани измыслил? Федор Кузьмич. Кто колесо из дерева резать догадался? Федор Кузьмич. Научил каменные горшки долбить, мышей ловить да суп варить. Дал нам счет и письмо, буквы большие и малые, научил бересту рвать, книги шить, из болотной ржави чернила варить, палочки для письма расщеплять и в те чернила макать. Научил лодки-долбенки из бревен мастерить и на воду спускать, научил на медведя с рогатиной ходить, из медведя пузырь добывать, растягивать тот пузырь на колках и этой плевой окна крыть, чтобы свету в окне и зимой хватало.

Только медвежью шкуру да мясо взять себе не моги: малые мурзы зорко надзирают. Не дело простому голубчику медвежью шкуру носить. И то понять надо: как же мурзе без шубы в санях ездить? Живо обморозится. А мы пешком бегаем, нам жарко, глядишь – и зипун раскупонишь, упаришься. Хотя другой раз и засвербят пустолетные мысли: вот бы и мне сани, да шубу, да... Но это все своеволие.

Ох, хотел Бенедикт податься в истопники. Но матушка – ни в какую. Только в писцы, дескать. Отец его в древорубы сманивал, матушка в писцы толкала, сам мечтал, как пройдет посередь улицы – весь из себя чванный такой, борода кверху, огневой горшок за собой на веревке тащит – только искры из дырок сыплются. Да и работка нетяжкая: набрал углей у Главного Истопника, Никиты Иваныча, домой отволок, печь растопил, а сам сиди и в окошко зевай: беспрерывно постучится соседский голубчик, а то и с Глухого Конца, с дальней стороны прибредет:

– Батюшка истопник, Бенедикт Карпыч, дай огоньку! Моя-то дура зазевалась, а печь возьми да и погасни. А мы только-только собрались олады спроворить, что ты будешь делать...

Вот нахмуришься, закричишь будто спросонья, оторвешь нехотя задницу от лежанки или тубаретки, потянешься так сладко, – потягу-у-ушеньки! – почешешь в голове, сплунешь и неудовольствие изображаешь:

– Вот у вас и все так! Мудилы гороховые... Огня сберечь не могут... На всех, голубчик, угольков не напасёшься! За угольками знаешь куда ходить надо-то?.. Аааа, то-то... Ноги, чай, не казенные. Ну, народ, ну, народ... Другой бы плюнул, зарекся с вами связываться... Ходют и ходют. Сами не знают, чего ходют... Ну, чего тебе? Угольков?

Так вот спрашиваешь, будто сам не видишь, чего ему надо, и смотришь хмуро, и пасть кривишь на сторону, будто во рту с утра воняет или будто сейчас стошнит. А это по должности. Должность у служивого человека такая. Голубчик опять занает:

– Бенедикт Кааарпыч, бааатюшка, выыручи, роднооой. Уж как помнить буду... Уж как помнить... Да вот я... вот оладушков горяченьких... принес вот тут... подостыли малость... не взыщи...

Тут надо буркнуть себе под нос: «Оладушков...», но самому не брать, борони боже, – голубчик все знает, он сам тихо в уголок положит все, что надобно, а ты все: «оладушков...», – злобно так, но не пережимая. Чтоб голос эдак на снижение пошел, на ворчание. А сам неспешно, с оттяжками, совком уголочков загребешь и, через плечо, голубчику: «Горшок принес?..» – «Как же, как же, батюшка, выручил, родной...» – ну и чуток ему и насыплешь. Когда вот эдак-то, по-государственному, к делу подход имеешь, тут тебе и от людей уважение – строгий какой истопник-то наш, батюшка! – скажут, да и сурпризы после людей-то остаются. Как дверь за голубчиком закроется, эдак украдкой в окошко глянешь: ушел?.. И к сверточку. А интересно, что принес-то. Может, правда, оладушков. Может, сала. Яйцо печеное. Другой, кто победней, просто ржави нарвет. Тоже сгодится.

Эх-х-х, размечаешься другой раз!.. Да вышло по-матушкиному. Уперлась: три, говорит, поколения ЭНТЕЛЕГЕНЦЫИ в роду было, не допущу прерывать ТРОДИЦЬЮ. Эх-х-х, матушка!!! К Никите Иванычу бегала шушукаться, и в избу его за рукав приволакивала, чтоб вместе на отца давить, и руками перед носом крутила, и в визг ударялась. Отец и плюнул: да оййй... да провалитесь вы все, да чтоб вам... да делайте что хотите... Только потом не жалобьтесь.

Так что вышло по-еёному. Выучил Бенедикт азбуку, али, по-научному, алфавит, накрепко – а это просто: А, Б, В, Г, Д, Е, можно и Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я, – а еще, конечно, наука всякой букве научное название дает: «люди», а то «живете», а то «червь». И ходит теперь Бенедикт на работу в Рабочую Избу. Ну, труд тоже недурной. Придешь, а там уж натоплено, свечи из мышиноного сала зажжены, сор выметен – благолепие. Выдадут ему берестяные тетради, выдадут свиток, откуда списывать, пометят: от сих до сих, – и сиди себе в тепле, перебелий. Только места для рисунков оставляй. А рисунки после Оленька-душенька своей белой ручкой наведет: курочку нарисует или кустик. Не сказать, чтоб похоже, а все глаз побалуует.

А списывает Бенедикт то, что Федор Кузьмич, слава ему, сочинил: сказки, или поучения, а то стихи. Уж такие у Федора Кузьмича, слава ему, стихи ладные выходят, что иной раз рука задрожит, глаза затуманятся и будто весь враз ослабеешь и поплывешь куда-то, а не то словно как ком в горле встанет и сглотнуть не можешь. Которые стихи ясные, каждое слово понятно, а которые – только головой покрутишь. Вот намерен Бенедикт перебелил:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,

Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Тут все и дураку ясно. А вот:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок,
сей поезд журавлиный,
Что над Элладю когда-то поднялся...

– здесь только крякнешь и в бороде почешешь. А то вот еще:

Нард, алой и киннамон
Благовонием богаты:
Лишь повеет аквилон,
И закапят ароматы.

Эка! Ну-ка, поди ж тут разбери, что куда закаplet. Да, много всяких слов знает Федор Кузьмич, слава ему. Дак на то он и поэт. Работа не из легких. «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды», – говорит Федор Кузьмич. Это он ради нас так изводится. А ведь у него и помимо того дел невпроворот.

Говорят, надумал он из дерева кривую палицу резать да в дугу ее гнуть, а называть ее велено будет коромыслом. Нам все равно, хозяин – барин, можно и коромыслом, а зачем, почему – не наше дело. И носить на той дуге жбаны с водою, чтоб руки не оттягивало. Может, к весне кому эти коромысла в Складе и выдадут. Спервоначалу санитарам, не к ночи будь помянуты, после – мурзам, а там, глядишь, и нам перепадет. А уж весна на носу. Ручьи побегут, цветики пойдут, красные девушки сарафаны наденут... Размечтаешься! Вот и Федор Кузьмич сочинил:

О весна без конца и без краю!
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь, принимаю,
И приветствую звоном щита!

Только почему «звоном щита». Ведь щит-то для указов – деревянный. Ежели когда приколачиваешь указ о дорожной повинности, али чтоб не смели самочинно сани ладить, али у кого недоимки – мало мышиноного мяса сдал, к примеру, – али Складской День в который раз переносят, – то щит не звенит, а глухо так побрякивает. Дак ведь ему закон не писан, Федору Кузьмичу-то, слава ему. Он ведь сам-то про себя что говорит: «Гордись, – говорит, – таков и ты, поэт, и для тебя закона нет». Так не нам же ему и указывать.

С Бенедиктом в Рабочей Избе и другие писцы рядком сидят. Оленька, душенька, рисунки рисует. Хороша девушка: глаза темные, коса русая, щеки – как вечерняя заря, когда к завтрему ветра ожидаем, – так и светятся. Брови – дугой, али, как теперь велено будет звать, коромыслом; шубка заячья, валенки с подошвами – небось семья знатная; на работу Оленьку в санях отвозят, после работы опять сани ждут, да не простые: тройка. Под шлейф перерожденцы ногами топчут, перебирают; коренник норовистый, того и гляди зубами хватит, а пристяжные

и того пуще. Как к Оленьке подступишься? Бенедикт только вздыхает да искоса посматривает, а она уж знает, лапушка: глазыньками моргнет да головкой-то эдак подернет. Скромница.

...Вот идет Бенедикт на работу, по сторонам посматривает, Истопникам кланяется, от саней сторонится, морозцем дышит, синим небом любит. Зазевался на красавицу, что мимо семенила, тындых! – и в столб врезался. О-о, чтоб вам всем и так и эдак, и разэдак, и перетак! Понаставили не знай чего, блин!..

Столбы эти ставит Никита Иваныч, Главный Истопник. Матушки, покойницы, старинный приятель. Тоже из Прежних. Лет ему, наверно, триста, а то и больше, кто знает. Кто время подсчитает? Разве мы знаем? Зима-лето, зима-лето, а сколько раз? – ведь собьешься, думавши. Пальцев-то десять, да на ногах – десять, правда, у кого и по пятнадцать растет, у кого по два, а вот, к примеру, у Семена, что с Мусорных Прудов, на одной руке много махоньких пальчиков, ровно корешки, а на другой – и вовсе кукиш. Такое ему Последствие вышло.

Этот Никита Иваныч с матушкой водился. В избу придет, ноги вытрет, – «разрешите?» – на тубаретку плюхнется и давай заводить разговоры про Прежнее.

– Полина Михайловна, а Кузминского помните? Ха-ха-ха. А как Вайсман приезжал, помните? О-хо-хо. А Сидорчук-то, сволочь, помните, все доносы писал, и где теперь те доносы? Пыль, все пыль! А как Ляля кофе варила! Кофейку бы сейчас...

Матушка то хохотать, то всхлипывать, то ей МОГОЗИНЫ из ума нейдут, то вдруг: зачем бы это Сирень пропала; Сирень – это вроде цветов таких, на деревьях, сказывают, росла, и запах от нее был знатный. Тятенька эти разговоры страсть как не любил, выбежит во двор и ну дрова рубить: хэкс! хрясь! хэкс! хрясь! Злись не злись, а слово поперек Никите Иванычу как скажешь? – как есть он Главный Истопник.

Всякую работу Бенедикт знает, все делать может, да и другие голубчики чай не безрукие, а огня добыть не могут. Принес-то огонь людям Федор Кузьмич, слава ему, а только как дело было, где он тот огонь взял, нам неведомо. Тут хоть три дня думай, не додумаешься, а только разве голова заболит, как если яичного квасу перепьешь. Кто говорит: с неба свел, кто рассказывает, будто топнул ножкой-то Федор Кузьмич, слава ему, и на том месте земля и загорись ясным пламенем. А все может быть.

А надзирает за огнем Никита Иваныч. Все Малые Истопники к нему за огнем ходят, в каменные горшки с дырками углей набирают и к себе в избы волокут. Ох работа хорошая!.. Ох хорошая! Дома сиди, в окно гляди да голубчиков с сурпризами дожидайся. День-деньской голубчики на работе: кто в Рабочих Избах порты просиживает, кто на болоте ржавь собирает, кто в полях репу сажит, кто что. А печь, она присмотр любит; опоздал домой – глядь, она и погасла. Зазевался – а угольки-то и остыли. Вот только что, вот сейчас гулял по ним синий огонек, и каждая-то деревяшечка сызнутри как живая светилась, красная, прозрачная, будто в ней кто дышит али слово сказать хочет, – и вот уж все. Молчит, серая, тупая, словно в ней кто умер.

Дак он и умер. Огонь-то. Да-а-а-а... Не понять. Тайна.

А где тайна – там и служба государева.

Веди

Росту Никита Иваныч небольшого, телом шуплый, бороденка паршивая, глазки махонькие, как у курицы, а на голове волосищ – ужаси. Он в Прежнее Время, до Взрыва, совсем стариком был, кашлял, помирать собирался. Это он матушке любил рассказывать, по сту раз повторял, вроде как гордился. А тут, говорил, это хозяйство как жახнет – и вот он я. И живу, говорил, и помирать, голубчики, решительно не намерен. И не уговаривайте.

Матушка, та тоже помирать не собиралась, да огнецы, проклятые, подвели. А после матушкиной смерти Никита Иваныч не то чтобы что, а вроде как молчать больше начал, людей сторониться. Оно понятное дело: Прежних, почитай, и нет почти, разве что перерожденцы, да они вроде как и не люди, а с нонешними голубчиками, с нами то есть, того разговору уж не заведешь. Да и то сказать: Прежние наших слов не понимают, а мы ихних.

А то другой раз такую чушь сморозят, как дети малые, ей-богу. Вот когда матушка с тятенькой еще живы были, хозяйство, конечно, крепше стояло. И курьё держали, и червярей запасали толченых, и Котя был: мышей ловить. Да матушка ленива была и непроворна. Летом, в самую пору, ей бы яиц-то напасть – чтоб зимой квас-то варить. Ведь осень придет, холода нападут, курьё на юг соберется, еще воротится ли? Тут давай поворачивайся!

А она другой раз: а давайте, говорит, запрем их, пусть дома сидят, круглый год нам яйца несут. Ну?! Шас, удержишь их! Давай, лови за ноги! Клювом тебе в лоб дадут, да и вся недолга! А то еще: а жаль, говорит, что их есть нельзя: я бы курочку с удовольствием покушала. Смех и грех; тятя так смеялся! Шеболда ты, говорит, шеболда! голова твоя пустая! Клим Данилыч так-то вот покушал курочку: и где он теперь? Мало, что сам помре, да как помре: весь черный стал, раздулся как колода и лопнул; да мало того: у его на могиле вся земля осемши и провалимши, и огни там бродят нехорошие, холодные, и вонь такая, что два раза посылали мужиков песком могилу-то завалить, а все по-прежнему.

И Никита Иваныч туда же: ничего не понимает, а говорит. Раз говорит: никакой, говорит, кыси нет, а только одно, говорит, людское невежество. Эвона как. А кто людям жилу-то рвет? Кто из шеи кровь пьет?! А?! Не знаешь, дак и молчи. Помалкивай в тряпочку.

Дак этот Никита Иваныч начал по всему городку столбы ставить. У своего дома на столбе вырезал: «Никитские ворота». А то мы не знаем. Там, правда, ворот нет. Сгнивши. Но пусть. В другом месте вырежет: «Балчуг». Или: «Полянка». «Страстной бульвар». «Кузнецкий мост». «Волхонка». Спросишь: Никита Иваныч, вы чего? А он: чтоб память была. Пока, говорит, я жив, а я, говорит, как видишь, жив всегда, желаю внести свой посильный вклад в восстановление культуры. Глядишь, говорит, через тыщу-другую лет вы наконец вступите на цивилизованный путь развития, язви вас в душу, свет знания развеет беспробудную тьму вашего невежества, о народ жестоковыйный, и бальзам просвещения прольется на заскорузлые ваши нравы, пути и привычки. Чаю, говорит, допрежь всего, РИНИСАНСА духовного, ибо без такового любой плод технологической цивилизации обернется в ваших мозолистых ручонках убийственным бумерангом, что, собственно, уже имело место. Засим, говорит, не смотри на меня аки козел, исподлобья, взглядом тухлым; когда слушаешь, рот широко не раззявывай и ногу об ногу не заплетай.

Ну, голубчики спервоначалу озлобились – страсть. Утром встанешь, глаза продерешь, а у тебя перед самым окном орясина торчит: «Арбат». Свету в окошке и так мало, зимой, с пузырем, и того меньше, а тут, понимаешь, арбат этот как срамной уд на свадьбу собрамшись. Ну и выворотят его к такой-то матери: на растопку пустят или полы латать. Человеку озлиться долго ли: палец покажи, он и озлился. Никите Иванычу по шеям не накладаешь: начальство, а соседнему голубчику – с нашим удовольствием. Сосед – это ведь дело не простое, это не всякий-який, не прохожий, не калика перехожий. Сосед человеку даден, чтоб сердце ему тяже-

лить, разум мутить, нрав распалять. От него, от соседа, будто исходит что, беспокой тяжелый али тревожность. Иной раз вступит дума: вот зачем он, сосед, такой, а не другой? Чего он?.. Глядишь на него: вот он вышел на крыльцо. Зевает. В небо смотрит. Сплюнул. Опять в небо смотрит.

И думаешь: чего смотрит-то? Чего он там не видел? Стоит-стоит, а чего стоит – и сам не знает. Крикнешь:

– Эй!

– Чего?..

– А ничего! Вот чего. Расчевокался, чевокалка... Чего расчевокался-то?..

– А тебе чего?

– А ничего!

– Ну и молчи!

– Сам молчи, а то щас как дам!

Ну и подерешься другой раз, когда и до смерти, а то просто руки-ноги поломаешь, глаз там выбьешь, другое что. Сосед потому что.

С этими столбами сначала много смертоубийств было, а опосля, как водится, попри-выкли, просто «арбат» соскоблят и новое вырежут: «Здесь живет Пахом» или матерное. Матерное интересно вырезать. Никогда не скушно. Вроде и слов немного, а слова-то все веселые такие. Бодрые. Ежели человеку сурьезное настроение, ежели плакать хочется или истома найдется, слабость, – никогда он матерного не скажет и не напишет. А вот если злоба душит или смех разбирает, а еще если сильно удивишься, – тогда оно как-то само идет.

Глаголь

Вот Никита Иванович столбов понаставил, а Бенедикт об них голову разбивай. И желвак теперь вскочит. Вот досада-то. Девушки небось хихикать будут, шептаться. А то язык высовывать. А то и вслед из-за ворот кричать, дразниться: «Желвак! Желвак!» А то забежит какая вперед тебя на тропку, поперек пути встанет, подол задерет и голую жопу покажет: чтоб обидно стало. А и впрямь обидно, до слез. А другие, кто по избам попрятавшись, от хохота прям увизжатся, как русалки какие: визг столбом стоит, а кто визжит – и не видать, хоть ты головой верти, хоть ушами, хоть чем. А от этих изоб-то, где визжат, глядишь, визг-от и на другие избы перекинется, что в заднем ряду, а там и по третьему ряду пойдет, а там и по всей слободе, это уж оно всегда так, будто зараза какая, будто пожар пыхнул и ветер пламя гонит от двора ко двору, не приведи Господь, а вот ты поди-ка, в любой обиход торкнись, сапогом дверь-то рассундучь да крикни, рассвирепеми: «Ну чо?! Чо расклекотались-то, козлы?! Что смешного-то?!» – дак и не скажут. Не знают.

Дак вот поди ж ты, какая от жопы обида тяжелая, даром что другой раз на голых смотреть – оно интересно: мысли всякие играют, сердце стучит, и не заметишь, как и время пролетит. Да, другой раз интересно, а тут вот нет, и отчего бы это?

А оттого, знать, что умысел супротив тебя направлен, чтоб помнил ты свое место: ниже нижнего – и не высывался. Ежели кто над тобой посмеялся – он словно как бы власть свою показал, а ты, брат, словно в ямку скатился.

А и тут есть об чем подумать. Ежели б все это так просто было, отчего же малые мурзы, что за нами надзирать приставлены, никогда не смеются? Отчего смотрят так, будто тебя из поганого чулана уполовником зачерпнули? Разговаривают, зубов не разжамши, будто бы у них во рту чего ценное, дак вот как бы оно не выпало, а то ты хвать и бежать сломя голову? А глазами-то какими смотрят: напустят во взгляд мути и так это: вроде и неподвижно, а вроде и насквозь? А еще... хотя нет, нет, это, должно быть, своеволие. Нет, нет, не надо думать. Нет.

...Да, вот понаставил столбов дурной старик, прости господи, а Бенедикт, чего доброго, еще прозвище на всю жизнь получит: Желвак. Как другим-то голубчикам прозвища бывают дадены: Гнилоед, или Трясогуз, или другое какое, смотря что заслужил, привычка ли у него какая настырная, или Последствие особо дурное, или что. У Бенедикта вот никаких Последствий отродясь не было, лицо чистое, румянец здоровый, тулово крепкое, хоть сейчас женись. Пальцев – он считал – сколько надо, ни больше ни меньше, без перепонок, без чешуи, даже и на ногах. Ногти розовые. Нос – один. Два глаза. Зубы – что-то много, десятка три с лишним. Белые. Борода золотая, на голове волосья потемней и вьются. Тож на животе. На титьках тож. Пуп – где и должен быть, в аккурат посередке. Срамной уд тоже посередке, пониже. Хороший. Как все равно гриб лесной. Только без пятнушек. Хоть сейчас достань да любому покажи.

И где ж он столб этот вторнул-то: у самой Рабочей Избы. Разве это не своеволие? Ведь саям поворотить негде будет! Бенедикт захватил в пригоршню снегу, приложил к желваку и стоял, разбирая надпись: «Первопечатник Иван Федоров». Ишь ты какой борзой! А ну-ка, выворотить его. Бенедикт поднатужился, обхватил дуру-то эту тяжелую, дернул да и выворотил. Да и бросил. Да ногой пнул. Поглядел по сторонам. Никого. Жаль, что Оленька али другие девушки не видали, какая в нем силища-то, в Бенедикте.

А в Избе уж наро-о-одууууууу... Тьма-тьмущая. И Оленька-душенька тут... Сидит, зарумянившись, глазки опустила. А на Бенедикта все же зыркнула. Хорошо. И Варвара Лукиншна тут – с Оленькой разговоры заводит, беседы бабские беседует. И Ксения-сирота. И Васюк Ушастый.

Скоро объявят: начинай работу. Хорошо, что не опоздал. Опоздать-то оно ничего, да пойдут переглядывания да перешептывания: а не заболел ли, боже упаси, боже упаси? Тьфу,

тьфу, тьфу, не сглазить бы. Правда, сколько Бенедикт помнил, никто в ихней Избе еще ни разу не заболел, тьфу, тьфу, тьфу. Горло першит или голову ломит – это не Болезнь, боже упаси, боже упаси. Палец переломил или глаз подбил – тоже не Болезнь, боже упаси, боже упаси. Икота иной раз нападет – тоже не Болезнь, боже упаси, боже упаси. Ежели икота напала, скажешь три раза:

Икота, икота,
Иди на Федота,
С Федота на Якова,
С Якова на всякого, —

она и уйдет. Али ячмень, к примеру, на глазу выскочит – ну, тут заговор нужен покрепше, чтоб держалось. Три раза дунуть, да три раза плюнуть, да на одну ногу встать, да на ней и стоять, а рукой-то за вторую ногу ухватить и так ее и держать, ни боже мой не падать. И говорить:

Ячмень-ячмень,
Жичинка-жичинка,
Кукиш-кукиш.
На кукиш ничего не купишь.
Купишь топорок,
Разрубишь жичинку поперек.

И вот как рукой его снимет, ячмень-то этот. А это не Болезнь.

А какая она, та Болезнь, и когда придет, и что тогда будет – никому не ведомо. Да о том и не говорят. А ежели и говорят, то шепчутся. А ежели и шепчутся, так только когда поблизости нет Васюка Ушастого.

А что он подслушивает, все знают. Так уж положено. А ушей у него видимо-невидимо: и на голове, и под головой, и на коленках, и под коленками, и в валенках – уши. Всякие: большие, малые, круглые, длинные, и просто дырочки, и трубочки розовые, и вроде щели, и с волосами, и гладкие – всякие. Спросят его:

– Васюк, куда тебе ушей столько?

А он:

– А это не уши.

– А что ж тогда? – и сунут ему для смеха в ухо огрызок, али окурок, али другую дрянь какую. А главные-то уши, которыми он подслушивает, под мышками растут. Так что если он за работу принимается, то локти растопыривает, чтоб сподручней слушать было. И чуть от досады не плачет: что ж это за секреты такие, когда всем видать: растопырился – стало быть, подслушиваешь.

А у Варвары Лукинишны тоже беда: страшна, голубушка, хоть глаза закрывай. Голова голая, без волоса, и по всей голове петушинные гребни так и колышутся. И из одного глаза тоже лезет гребень. Это «петушинная бахрома» называется. Но это тоже не Болезнь, боже упаси, боже упаси. Это Последствие. А так баба она хорошая и пишет красиво и чисто. И если у тебя чернила вышли, всегда своих нальет.

А бахрома – это не Болезнь, боже упаси, боже упаси. И санитарам приезжать не надо, нет, нет, нет.

А тут ударили в колотушку: начинай работу. Бенедикт сел за стол, поправил свечу, поплевал на письменную палочку, брови поднял, шею вытянул и глянул в свиток: что нынче перебеливать досталось. А достались «Сказки Федора Кузьмича».

«Жили были дед да баба, – строчил Бенедикт, – и была у них курочка Ряба. Снесла раз курочка яичко, не простое, а золотое...» Да, Последствия! У всех Последствия! Вот и у Анфисы Терентьевны прошлый год тоже с курами беда вышла. И ведь какие куры были: ладные, крупные, как на подбор. Яйца несли черные да мраморные – залюбуешься! Квас из тех яиц сразу в голову ударял. Хватанешь такого квасцу ковшик и сразу – ввух! Доблесть проявлять охота. Смотришь вокруг – а все двойное. Вон девушка пошла – а вроде как ее две. Крикнешь:

– Девчата! Айда со мной баловаться!.. – она и бежать без памяти. Обхохочешься-и!.. На Анфису Терентьевну смотришь – а ее тоже две. Но! – к ней баловаться не подъезжай, а не то выйдет Поликарп Матвеич, а его тоже двое, а этого нам не надобно, он и один страшен.

А как эти куры-то пели! Бывало, лето, вечер смеркается, месяц на небо всходит, заря догорает, роса пала, от цветов запах пошел. Добры молодцы да красны девушки на завалинку сядут, орешки моченые грызут, огнецов кушают, вздыхают, а то толкаются да щиплются. Вот как первая звездочка на небо выкатится, куры и запоют. Сначала щелкают как деревяшечки, потом тррррр, тррррр, потом бу-бу-бу, а уж как распоются – такие рулады грянут, уж так сердце разогреют, словно летишь куда, али бегом с горы бежишь, али стихи Федора Кузьмича, слава ему, из малопонятных, вспомнились:

В черном небе – слова начертаны —
И ослепли глаза прекрасные...
И не страшно нам ложе смертное,
И не сладко нам ложе страстное.
В поте – пишуший, в поте – пашущий!
Нам знакомо иное рвение:
Легкий огонь, над кудрями пляшущий, —
Дуновение – вдохновения!

А как придет осень с частым дождиком да с ветрами, все курье по всей слободе на юг собирается. Ну, хозяева провожать выйдут, печалуются. Вот главная кура вперед выйдет, одну ногу выставит, крылом махнет – всем хором они и грянут напоследок. Споют на прощанье, взмоют под небеса, покружат над родимой сторонкой, а потом вытянутся в нитку и парами, курь-о-курь, и летят. Машешь им платком вслед, а бабы и всплакнут, бывало.

И вот эти куры взбесились. Летать перестали, петь бросили, осень прошла, зима на носу, все птицы на юг подались, а эти, бешеные, – ни в какую. Анфиса Терентьевна их метлой, хворостиной – упираются, хохлятся да еще будто и по-человечески заговорили. «Куда-а?» – спрашивают. А яйца из них поперли белые, страшные, крупные. Баба от страха чуть с ума не сошла. Бросилась Бенедикта на помощь звать, и вместе они тех поганных кур передушили. Одно яйцо для курьезу оставили. Бенедикт его после Никите Иванычу показал. Старик – вот ничего не боится! – разбил яйцо о край миски, а там – Господи, обереги! – желтый жидкий шарик вроде как в воде плавает, а квасного-то солоду и нету... Обереги, господи! Старик на ноги вскочил, даже закричал: где остальные?! – страшным таким голосом. Успокоили его, усадили: все путем, не пугайтесь, Никита Иваныч, сами знаем, не маленькие. Всю пакостину извели, в курятнике березовым дымом помахали, чтоб снова не завелось нехорошего, и Гогу Юродивого приво-дили, чтоб заговор наложил: на четыре угла, на четыре двора, с-под моря зеленого, с-под дуба паленого, с-под камня горячего, с-под козла вонючего; тай, тай, налетай, направо дую, налево плюю, айн, цвай, драй. Заговор крепкий, проверенный, должно держаться.

Никита Иваныч за стол сел, глаза зажмурил, челюсти вот так вот сжал и сидел. Потом спросил, чего куры такое ели перед тем, как взбеситься. А почему мы знаем. Он и к Анфисе Терентьевне ходил расспрашивать, и думал долго. А шарик этот желтый, что в яйце завелся, он на сковороде обжарил и съел. Ей-богу, съел!!! И ничего ему не было.

Он вообще ест не как люди. Червырей не признает. Матушку, правда, тоже от них тошнило. А Бенедикт их с детства добывать наловчился. Бывало, играет в ручьях да в лужах с ребятами – в городке глинистых ручьев много, – непременно в воде руками шарит, червырей нащупывает. Червыри, они слепые, глупые. Вот наловишь парочку дюжин, на палочку нанижешь, высушишь, а потом и натолчешь. До того они соленые! К мышиному супчику наипервейшая приправа. Отец всегда Бенедикта хвалил, да и сам червырей лавливал, а матушка лицо скривит и руками машет. Раз Бенедикт Никите Иванычу целую связку подарил. Так они так и провисели на веревочке, старик и не притронулся. Соседка заглянула – огоньку попросить, – разохалась: добро пропадает. Он ей и отдал – всех до одного. А ведь их ловить – морока, столько грязи процедишь, пока червыря нащупаешь, да он еще вьется, за пальцы кусает. Попробуй-ка сам покопайся! А не соседям отдавать.

А то раз зашел Бенедикт к старику, а тот сидит и ложницей желтый клей ест, вот как на клеях, на стволах ихних, натеки бывают.

– Вы что это, Никита Иваныч?

– МЁТ ем.

– Какой МЁТ?

– А вот что пчелы собирают.

– Да вы в уме ли?!

– А ты попробуй. А то жрете мышей да червей, а потом удивляетесь, что столько мутантов развелось.

Бенедикт припужнулся, весь замрел и вышел бородой вперед сам не свой, не разбирая дороги. Страх-то какой: старик самолично к пчелам в дупло лазил... Потом, конечно, мужикам рассказал. Только головой покрутили.

– Ну да. Пчела гадит, а мы ешь за ней?!

А Полторак – у него полтора лица, и третья нога растет – говорит:

– Что ж это нас Никита Иваныч на такие дела подбивает? А еще Истопник... А то, помните, на Муркину Горку парней водил, все хотел, чтоб землю рыли... Мол, ШАДЕВРЫ там погребёны. А еще будто там доложен быть мужик каменный, огромный и сам ДАВИД. А у нас тут есть кому нас давить, лишний-то нам без надобности...

А это точно, он водил. Будто бы на Муркиной Горке МОЗЕЙ был в Прежнее Время, и будто бы там в земле камни белые закопаны, срамные. На манер мужиков и баб обтесаны, беспортошные; и титьки у них, и все. Оно, конечно, посмотреть бы интересно, а ну как это своеволие? Да и копать там – не перекопать. Да и на что бабы-то каменные, когда вон – живых полно? Дурит старикан. После за ним долго детишки ходили и вслед дразнили: «Никита Иваныч! Сними штаны на ночь! А как день – опять надень».

Так ничем дело и кончилось.

...Бенедикт вздохнул, вынул соринку из письменной палочки и быстро дописал сказку про Рябу. И место оставил, чтобы Оленька курочку нарисовала. А потом книжицу отнесут на торжище и на мышей сменяют. За связку мышей можно книжицу выменять. А мена только государственная, сам по своей охоте книжки перебелять не смей, узнают – накладывают горячих.

А еще говорят... но это пусть Васюк Ушастый отойдет. А еще говорят, будто где-то есть книги старопечатные. Правда ли то, нет, но слух такой есть. Будто те книги еще до Взрыва были.

И врут еще, что в лесу есть полянка, а на полянке – горяч белый камень, а под камнем тем клад зарыт. Вот в темную ночь, когда ни месяца, ни звезд не видать, на ту полянку прийти, да непременно на босу ногу, да задом наперед идти, да еще приговаривать: «Не то беру, что прочь бежит, а то беру, что в земле лежит», а придя на место, три раза вокруг себя обернуться, да три раза сморкнуться, да три раза плюнуть, да сказать: «Земля отройся, клад откройся», – вот

тогда пойдут туманы мороком, и из леса будет скрип слышать, и тот горяч камень отвалится, и клад откроется.

И там те книги схоронены, и светятся они как полный месяц. А больше одной не брать, не хватать, а схвативши, бежать прочь не оглядываясь, а если что не так сделаешь, то будто пелена пойдет перед глазами, а когда очнешься, глядь – а ты сидишь на своей избе верхом, на самой крыше, а в руках ничего и нет.

И будто у людей эти книги видели.

Добро

Ударили в колотушку: обед. До дому далеко, так Бенедикт ходил в Столовую Избу. За две блюда можно обед из двух блюд получить. Не так наваристо, как дома, ну да разве дома так уж наваристо? Зато ходить недалеко. За Оленькой санки присылают, она дома кушает. Лапушка.

Вот привязалась к Бенедикту Варвара Лукинишна. Она давно на него одним глазом-то поглядывает. Вы, дескать, в Столовую Избу? и я с вами. И бахрома у нее на голове колышется. Идти дак пойдем. Палец посплюнуть, свечу погасить – долго ли?

В Столовой Избе народищу!.. Бенедикт Варвару Лукинишну с мисками к прилавку подтолкнул, чтоб в хвост встала, а то еще народу набегит, – а сам кинулся к столам и два места оттер. И ложки положил: тут, мол, занято. И ногой перегородил, чтоб не совались. И локти пошире расставил. И лицом набычился: помогает.

Чужой разбежится место оттапать, глянет Бенедикту в личико и, если духом послабей, отстанет: ну еще, подумает, с таким рылом связываться, не приведи господь; сяду в уголок, подальше... Так-то вот на всякое дело свое разумение есть.

Чад плывет. Миски пар дают, ложки стучат, свечи потрескивают. Жарко. Повара вопят истошными голосами:

– Кто ржавь в палате курит – выйди! Дышать же нечем!

Но никто, конечно, и не пошевелится.

Добралась Варвара Лукинишна с мисками. Почти не пролила, хоть и толкались знатно.

Так. Опять мышиный супчик. Государственная еда, конечно, не чета домашней. И вроде мыши те же, а вкус, конечно, не тот. Жидковато. Зато червярей в супчик бабахнуто – скулы свернешь. Вот червярей не жалеют. Пересаливают супчик. А так ложкой повозишь-повозишь – один хвостик мышиный. Ну, глазки. Ребрышки.

Конечно, и повара понять надо. Он небось тушки припрятывает, лучшие кусочки оттапает и домой несет, детишкам.

А и всякий бы так сделал. Ведь одно дело – на чужого варить, на незнакомого: кто его знает, что за человек такой? А другое дело – на свое дитяtko. Некоторые говорят: на всех, дескать, варить надо одинаково. Да где ж это видано?

Чужой, он и есть чужой. Что в нем хорошего? Если не девушка, конечно. Что хорошего? А может, ему и не так голодно, чужому. Может, он как-нибудь так, обойдется. Передумает есть.

А свой – он теплый. У него и глаза другие. Смотришь – и видишь: кушать хочет. Прямо чувствуешь, как у него нутро светло. Свой – он немножко, как ты сам.

Варвара Лукинишна вздыхает:

– Я смотрю, они мышей нечищенных кладут.

– Говорят, работать некому.

– Я понимаю, но все-таки. Вот приходите ко мне, Бенедикт, я вас хорошим супом угощу.

– Благодарствую, Варвара Лукинишна. Как-нибудь – обязательно.

А у нее, бедняги, гребень петушиный из глаза так и прет. Хоть не гляди.

– Вот я вас все хочу спросить, Бенедикт. Вот я стихи Федора Кузьмича, слава ему, перебеваю. А там все: конь, конь. Что такое «конь», вы не знаете?

Бенедикт подумал. Еще подумал. Даже покраснел от натуги. Сам сколько раз это слово писал, а как-то не задумывался.

– Должно быть, это мышь.

– Почему вы так думаете?

– А потому что: «али я тебя не холю, али ешь овса не вволю». Точно, мышь.

– Ну а как же тогда: «конь бежит, земля дрожит»?

– Стало быть, крупная мышь. Ведь они как начнут возиться – другой раз и не уснешь. Ведь помните, Федор Кузьмич, слава ему, тоже пишет: «Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?» Мышь это, точно.

– Странно все же как-то. Нет, вы меня не убедили.

Варвара Лукинишна много стихов наизусть знает. И все хочет понять что-то. А мало ли слов-то трудных! Другой плюнет, а ей вот надо, поди ж ты. И разговаривает по-книжному. Таким манером матушка разговаривала. Или Никита Иваныч.

Варвара Лукинишна одна живет. Вот она мышей наловит, на торжище снесет и на книги сменяет. И все читает.

– Знаете, Бенедикт, для меня стихи – это все. Наша работа – это такая радость. И вот я обратила внимание: Федор Кузьмич, слава ему, он как бы разный. Понимаете, что я хочу сказать? Он как бы на разные голоса разговаривает.

– На то он и Набольший Мурза, долгих лет ему жизни, – насторожился Бенедикт.

– Нет, я не о том... Не знаю, как вам объяснить, но я чувствую. Вот, скажем: «Свирель запела на мосту, и яблони в цвету. И ангел поднял в высоту звезду зеленую одну. И стало дивно на мосту смотреть в такую глубину, в такую высоту...» Вот это один голос. А вот, допустим...

– На мосту? – перебил Бенедикт. – Это, должно быть, Поганный Мосток. Знаю. Я там червырей ловил. Там, действительно, глубина порядочная. Там не зевай! Тютюхнешься – и поминай как звали. Одни пузыри пойдут. Там еще доска подгнила. Когда козляков гонят, непременно один да провалится. Я это место знаю. – И обсосал косточку.

– Нет, нет, я не о том. Вы прислушайтесь: «Послушай, в посадe, куда ни одна нога не ступала, одни душегубы, твой вестник – осиновый лист, он безгубый, безгласен, как призрак, белей полотна!» – ведь это же совсем, совсем другой голос звучит. Совсем другой.

– И посад я этот знаю! – закричал Бенедикт. – Там Пахому череп раскроили.

Варвара Лукинишна головой качает, смотрит на свечу, и синенькое пламя у нее в единственном глазу так и дрожит.

– Нет, нет... Вот я все читаю, читаю... думаю, думаю... И я все стихи на разные стопочки разделила. И нитками заново тетрадки сшила. И знаете, что интересно?..

– Вон Васюку Ушастому тоже интересно, – сказал Бенедикт. – Ишь растопырился. А стихи вы напрасно туда-сюда перешиваете. Это своеволие.

– Ах боже мой... Ну пойдемте работать. Сейчас в колотушку ударят. – Варвара Лукинишна обвела глазом закопченную палату. Ржави накурили так, что не продохнешь. Синий дым висит до полу. В углу голубчики, кто свое поел, играют в щелбаны. Двое уже набрались квасу и лежат на полу. Васюк записывает: кто.

– Все же ресторан шумноватый, – вздохнула Варвара Лукинишна. – «Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви...» Как вы думаете: смычки – это что?

– Какие-нибудь девчонки бедовые?

– Нет... Знаете, так хочется об искусстве поговорить... Приходите ко мне домой. Право, приходите!

– Ладно, зайду как-нибудь, – сказал Бенедикт с неохотой. Если бы она не такая страшная была, он бы, конечно, с удовольствием. В баньку попариться – а потом и в гости. А так – успеется.

А может, если зажмуриться, – оно и ничего. Баба добрая. Еще и супу нальет. Правда, что-то она всеми этими разговорами Бенедикта растревожила.

В Рабочей Избе все в сборе, а Оленьки нет. Бенедикт подождал, погрыз письменную палочку. Не идет. А это бывает: до обеда она на месте, а ввечеру не приходит. Стало быть, так надо. Не наше дело. А скушно.

Сел перебелять новую сказку: «Колобок». Смешная такая история, ужаси. Этот колобок и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от медведя, и от волка. По лесу знай себе катался.

Песенки пел веселые, с прибаутками: «Я колобок-колобок, по амбару метен, по сусеку скребен, на сметане мешон, на окошке стужон!» Бенедикт радовался за колобка, пишучи. Посмеивался. Даже рот открыл, пока писал.

А как дошел до последней строки, сердце екнуло. Погиб колобок-то. Лиса его: ам! – и съела. Бенедикт даже письменную палочку отложил и смотрел в свиток. Погиб колобок. Веселый такой колобок. Все песенки пел. Жизни радовался. И вот – не стало его. За что?

Бенедикт сглотнул и обвел глазами избу. Все пишут, склонились. Свечи помаргивают. Медвежьи пузыри на окнах синевой отливают. Вечер уже. Никак и метель собралась. Наметет высокие сугробы, засвишет по улочкам, занесет избы по самые окна. Застонут высокие деревья в северных лесах, выйдет из лесу кысь, подступит к городку, завоет жалобно: кы-ысь! кы-ысь! А над городком снежный ветер бушует, над теремами завивается, далеко разносит дикую жалобу.

Представилось Бенедикту, как сидит он в детстве на печи, свесив валенки, а за окном метель гуляет. Трещит синеватая свечка из мышиноного сала, тени под потолком пляшут, матушка у оконца сидит, вышивает цветными нитками полог или полотенце. Из-под печки вылезает Котя, мягкий, пушистый, прыгает Бенедикту на колени. Матушка Котю не любит: если он за подол ей уцепится, всегда его стряхивает. Говорит, не может его голого розового хвоста видеть, морды с хоботком. И не нравится ей, что пальчики у него тоже розовые, детские. Будто в ее молодости звери эти совсем другими были. Ну, мало ли что раньше было! А не будь Коти, кто бы им столько мышей ловил, и откуда бы они брали сало для свечек? А Бенедикт его любит. Протянешь ему палец, он обхватит ручонками и мурлычет.

А у матушки вроде бы старопечатная книга была. Только она ее прятала. Потому что они, говорят, заразные. Так что Бенедикт ее не только не трогал, но даже и не видел, и матушка строго-настрого запретила о ней говорить, будто ее и нет.

Отец ее сжечь хотел, боялся. Какая-то Болезнь от них, боже упаси, боже упаси.

И тогда Красные Сани приедут.

И в саях – санитары, не к ночи будь помянуты. Скачут они в Красных Саях – тьфу, тьфу, тьфу, – в красных балахонах, на месте глаз – прорези сделаны, и лиц не видать, тьфу, тьфу, тьфу.

И вот сидит Бенедикт на печи, а матушка вышивает, а метель за окном воем, а свечечка чуть теплится, как огонек над болотной ржавью, и в углах темно, и отец уж спать собрался и одежду скидывает.

И вдруг как закричит: а-а-а-а! И глаза выпучил и на живот себе смотрит, а сам все кричит да кричит. А на животе у него вроде как сыпь, али будто кто его грязными ладошами обхлопал. А он кричит: «Болезнь! Болезнь!»

Матушка – ноги в валенки, платок на голову и в дверь: за Никитой Иванычем.

Отец:

– Сообщит! Сообщит! – и за подол ее хватает.

Это он что Никита Иваныч санитарам сообщит. Куда там! Вырвалась – и в метель.

Вваливаются с Никитой Иванычем. Тот:

– Ну, что еще? Покажите. Ну, что, ну, нейродермит. Мышей меньше есть надо. Само отвалится. Не чешите.

И вправду, прошло. А старопечатную книгу отец все же нашел и сжег. Он не так заразы боялся, как санитаров, не к ночи будь помянуты.

Потому что они забирают и лечат, и люди после того лечения не возвращаются. Никто еще не вернулся.

И страшно об этом подумать. А по улице идешь, и вдруг посвист и гиканье: Красные Сани несутся, а в них шестерка перерожденцев запряжена. И вот ты как есть, тулуп ли на тебе, зипун ли, летом рубаха, – бросишься так-то в сторону, в сугроб али в придорожную грязь,

голову руками закроешь, сожмешься: Господи, пронеси!.. Обереги!.. Вдавись бы в землю, в глину уйти, слепым червырем стать – только бы не меня! Не меня, не меня, не меня, не меня!..

А они все ближе, а топот все громче – вот, накатило! Жар, и свист, и хрипло дышит шестерка, и комья грязи из-под полозьев... И пронеслись. Тишина. Только вдали затихает тупая дробь валенок.

Я не болен, я не болен, нет, нет, нет. Не надо, не надо санитарам приезжать, нет, нет, нет. Боже упаси, боже упаси, нет, нет, нет.

Есть

Вот как Котя-то помер, так и мышей ловить стало некому. Голыми-то руками много ли наловишь? Конечно, наука на месте не стоит, бесперечь развивается. Бенедикт, бывало, петли ладит, смертные удавочки. Веребочку тугую из ниточек скрутит, мышиним сальцем хорошо натрет, с одного конца особо петлей завьет, чтоб скользила, на пальце проверит – и на охоту. Полы у нас щелястые, раззявые, да оно не столько от убожества нашего, сколько для того, чтоб мыши легче выходить было: давай, давай сюда, голуба! Сказывают, что у богатых голубчиков, у кого терема высокие, расписные, двухъярусные, – ежели он, к примеру, мурза или так разжирел, с жизни несправедливой, – у тех все-то щели позаткнуты, так что и не дует даже в самый мороз. А как же еду добывают? А так, что у них в подполе особые холопы посажены, а научены те холопы на мышь бросаться, а больше они ничего не знают. Сидят они, сказывают, в подполе день-деньской, в темноте кромешной, а видят, как днем. А на свет им выйти нельзя, от дневного свету они враз слепнут, и вся их холопская мышеловная сила на том и кончается. А все может быть.

А мы народ простой, мы на пол брюхом ляжем, удавочку в щель запустим и ну подергивать. Мышь – она тварь глупая, ей самой интересно: что там за удавочка болтается? – вот она голову-то в петлю и сунь, а мы: тяфф! – и выдернем.

А что Федор Кузьмич, слава ему, научную вещь для нас измыслил, мышеловку, так это у людей тоже стоит, но без дела. В эту мышеловку, чтоб работала, надо еды кусок положить, а иначе мыши никакого интереса в нее заходить не будет. Зато вору интерес большой. Как ты из дому вон – вор-то, он дознается, что у тебя еда разложена, да и наведается. Обчистит и спасибо не скажет.

Воры – народ такой: они все берут. Мясо берут, вермишель, орехи, хлебеду, грибыши, если кто запаса, – все. Вот ржавь не берут. Ее всюду полно. Это уж каким лентяем надо быть, чтобы ржави не напасть! Но, правда, если уж очень хорошая, сухая, пышная – тогда да. Тогда возьмут.

А и вора понять же надо. Вот идет он по слободе и видит: дверь у избы палкой подоткнута. Хозяев нетути. Их нетути, а в избе, может, мясо заячье. А?! Может это быть? Очень может быть! Может, мужик изловчился и сбил его, зайца-то, камнем, а может, сменял у соседей на яйца али хвощи? Может, ему талан вышел, зайца достать! Мысль-то и упадет в голову. Пройдешь, может, мимо – так никогда и не узнаешь! Как же не зайти. Зайдет, оглядится. Коли точно, есть мясо – мясо возьмет, коли нет – обозлится, что промашка вышла, возьмет что есть, да хоть червярей. А уж ежели что взял, да кто ж его удержит? Ай, думает, все равно изба обокрадена, уж одно к одному – и давай выносить все подчистую.

А у Бенедикта красть нечего. Запасов не держит, что поймал, то и съел. Только что и есть ржави полный чулан.

Ржавь чем хороша. Она в любое дело идет. Ее и курят, и пьют, и чернила из нее варят, и нитки красят, если кому охота полотенца вышивать. Брага из нее хороша, особенно когда мороз на дворе. Дом тоже утеплять можно: между бревен в пазы наткивать. А кто и крышу крыть ржавью пробовал, но – не вышло. Клубки круглые, жесткие – сваливаются. На крышу хорошо солома. Кто побогаче – доски тесовые.

Ее на трясине берут. Вот как выходной – все, чуть свет, туеса подхватят – и кто куда. Бенедикт одно место хорошее приметил. Там Никита Иваныч столб поставил: «Садовое Кольцо». Никакого, конечно, кольца там нет, одни избы рядами. Там уж и городок кончается. А в аккурат за избами – трясина, вся ржавью покрытая. Рви не хочу. Там даже местные тебя не шугают; другие побиили бы, что ты к ним ходишь, а эти – нет. Вот идешь, поспешаешь спозаранку, зимой заря мутная, красная, холодом от нее тянет.

От зари роскошный холод
Проникает в сад, —

сочинил Федор Кузьмич.

Садов у нас, конечно, нету, это разве у мурзы какого, а что холодно — это да. Проникает. Валенки прохудились, нога снег слышит. Вот бежишь шибко-шибко, через Поганный Мосток, вверх на горку, потом опять вниз, мимо кохинорской слободы. Если кохинорец высунется, кинешь в него камнем для потехи, вроде согреешься, и дальше бежать. А почему кинешь, потому как кохинорцы эти не по-нашему говорят. Бал-бал-бал да бал-бал-бал — да и все тут, да и ничего не разберешь. А почему они так говорят, почему по-нашему не хотят — кто ж их знает. Может, назло. А может, привычка такая вредная, это тоже бывает.

А и то сказать, сами себе вредят. Что они там по-кохинорски-то сказать могут? По-нашему куда сподручней: сел, рассудил не спеша: вот так, дескать, и так; это вот и то-то. И все ясно.

А эти — вот поди ж ты, уперлись, и всё тут. Ну а кто говорит, что им просто носы мешают; дескать, они бы и рады сесть да побеседовать по-нашему, да вот носы. Носы у них до полу — право, смех один. Такое у них Последствие.

Наши, бывало, как делать нечего, соберутся вечерком у кохинорской слободы, на плетнях висят, головами крутят, хохочут. Эй, дескать, кохинорцы, чего носы-то поразвесили, ай лапти нюхать?.. А вот мы вам сопелки поотрываем!.. Те, бывало, забегают, сердитые такие — смех, ставни затворяют, детей в дом загоняют, да все бал-бал-бал! А если удачно камнем кинешь да в лоб такому попадешь, он аййй! — и за шишку не руками, а носом хватается, ну, тут вообще потеха, с плетней ребята наши падают.

А Иван Говядич, что на Мусорном Пруду избушку держит, — тот так эти шутки любит, что камнями загодя запасается: нароет у себя в огороде и в бочки складывает. Ребята, если в слободу собрались, мимо него нипочем не пройдут, он уж знает, в окошко поглядывает. Стой, ребята, меня возьмите, сам не дойду!

У Иван Говядича Последствия уж очень тяжелые. Голова, руки, плечи — это все крепкое такое, ладное, могучее, в три дня, как говорится, не обгадаешь, а из-под мышек — сразу ступни, а посередке — вымя. Это Никита Иванович так сказал: «вымя», а мы такого слова не знаем, да и ни к чему нам, да и в книгах такого слова нету, а по-нашему это сиська.

Ну, бывает и конфуз, конечно. Раз наши собрались дразнить кохинорцев, прихватили, кто ходячий, Ивана Говядича на закуорки, тот две полные шапки камушков набрал, поет, — а он и мастер же старинные песни распевать, бывало как заведет: «Эх, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, Ду, била Дуня Ваню колом на леду!» — да плечами-то поводит, да глазами-то поигрывает, зубы белые сверкают, — удаль молодецкая, да и только! — поет он, стало быть, а кохинорцы уж слышали, окна-двери позатворяли, попрятались, одного только старика на дворе позабыли. Ясно, ему от ребят за всех досталось. А этот старик вредный осерчал, да носом-то своим каменюгу, все равно как рукой, хват! — да и звезданул Иван Говядичу по вымени. Тот: бульк! — и лежит. Ребята наши тоже обозлились: что это, наших бить, — и полслободы кохинорцам разворотили.

Ну это все больше в праздник, когда настроение хо-рошее, а в будни у всех дел полно, наши на службу госу-дареву ходят, после суп варят или ржавь курят, а кохи-норцы из мышинных хвостов торбочки плетут, туески, да такие искусные, заковыристые, а после на торжище обменивают. А больше они ни на что не годятся, кохи-норцы.

Вот, стало быть, мимо ихней слободы пробежишь, бросишь чем, али так — и на трясину. За неделю ржавь свежая подросла, красноватая али как бы с прозеленью. Ее курить хорошо. А старая побурей будет, ту на краску али на брагу больше применяют. Вот в сухой листик

мелкой ржавки напёхтаеть, самокруточку свернешь, в избу какую постучишь, огоньку у людей спросишь.

Ежели сразу в лоб не дадут, то, может, поворчат да и пожалуют – огоньку-то. Идешь, попыхиваешь, и вроде теплей стало, вроде ты и не одинок, вроде и у голубчиков, что навстречу попадают, рыла не такие зверообразные.

Живете

Нрав у Бенедикта переменчивый, это уж он сам знает. День на день не приходится. То другой раз с утра такая бодрость вступит беспримерная, каждая жилочка так и напряжится: вых!!! Полсвета, думаешь, сворочу. Тогда руками работать охота. Вот под такое дело и ищешь себе занятие: рубить, али тесать, али что по дому ладить, топор али жбан соорудить, может, ведро выдолбить. Раз так вот дюжину тесовин для крыши обстругал. Право! Вот не дать соврать, дюжину! Ну не дюжину, так три штуки. Все равно много. И петь охота. Громко.

То скука плаксивая нападет. Это больше к вечеру. Особо по осени, а уж зимой-то едва ли не каждый день. Но и летом бывает.

Вот ввечеру, как солнце западать начнет – за волнистые поля, за синие горы, за дальние леса, куда никто и не хаживал, как тени длинные падут и будто тишина подступит, – вот тут оно и случается. Сидишь это на крылечке, покуливаешь, с соседями переругиваешься. Мошки в воздухе толкутся. Вот все птицы, все лесные пужалища вроде как приумолкли. Будто кто прошел и пальцем погрозил. А потом снова все враз начали, да уже другими голосами, ночными. Из дубравы шорох слышится, кулдыканье, чваканье, а иной раз засвиристит или мякает по-нехорошему.

Соседи говорят:

– Это русалка, язви ее.

А другие:

– Ну шас, прямо. Это древяница, у ей гнездо тута.

Тут баба-дура какая-нибудь встрянет:

– Может, это слеповран.

Все на нее и накинется:

– От то-то ты и дура!!! «Слеповран»! Слеповран без голоса, на то он и слеповран!

Баба глупая опять вякнет:

– Может, он и слепой, а голос у его трубный. Я ж слышу, чай не глухая.

Все:

– Он слепой-то получше твоего видит! Что ему надо, он видит! У его вся сила-то в когтях!

А не голос!

Хозяин – бабы этой муж – замечание ей делает:

– Ладно, баба, поговорила – и иди себе. Вари чего-нибудь. Много рассуждать стала.

Вроде бы все как всегда: беседуют, мысли сообщают, сомнения в природе выражают. А Бенедикту вдруг так-то тошнехонько станет! Будто вот тут вот, в середке, изжога припечет, а вокруг того печева, кольцом, – холод какой. И в спине тоже вроде неудовольствие. И за ушами тягучка. И слюна горчит.

Другой раз кому пожалуешься, а тебе и скажут:

– Это тебе кысь в спину смотрит.

Нет. Вряд ли. Непохоже. Это внутрих чего-то уклоняется, а может, как Никита Иваныч говорит, это ФЕЛОСОФИЯ.

Смотришь на людей – на мужиков, на баб, – словно впервые видишь, словно ты другой породы, али только что из лесу вышел, али, наоборот, в лес вошел. И все тебе в диковинку, в скучную диковинку. Вот, думаешь, баба: ну зачем она, баба? Щеки, живот, глазами мыргает, говорит себе чего-то. Головой вертит, губами шлепает, а внутри у ей что? Темнота мясная, кости скрипучие, кишки колечком, а больше и нет ничего. Смеется, пугается, брови хмурит – а есть ли у ей и вправду чувства какие? Мысли? А ну как она притворяется бабой, а сама оборотень болотный? Вроде тех, что по кустам гукают, в старой листве шуршат, скрипят ветвями,

а себя не покажут? А вот ежели встать, подойти да проверить: пальцы рогулькой расставить да ей в глаза-то тыкнуть? Что будет? Вяк! – и упадет, верно?

Ну, ясно, крику не оберешься, мужики тебе по шеем накладывают, не посмотрят, что ты государственный писец, казенный голубчик, – разворотят тебе мордовасию; а ежели какой малый мурза дознание учинит – клясться будут и божиться, что это так и было, что синяя харя – это у тебя обычное Последствие, что и у родителей твоих такое же рыло неудобосмотримое на морде висело, и у бабушки.

Вот и сегодня, к вечеру, в аккурат на самом рабочем месте, невесть с какой причины у Бенедикта внутрих ФЕЛОСОФИЯ засвербила. Мутно-мутно, как тень под водой, стало что-то в сердце поворачиваться, томить и звать, а куды? – и не скажешь. В спине как озноб какой, и на слезу потянуло. И то ли злоба разжигает, то ли летать хочется. Или жениться.

Колобок из головы нейдет, страшная такая история. Как он все пел, пел... Все катился, катился... На сметане мешон, на окошке стужон... Вот тебе и стужон.

Варвара Лукинишна тоже с разговорами с этими со своими неясными. «Конь» ей знать надо. Беспокойная какая. Мало ли что Федор Кузьмич, слава ему, в стихах выразит. На то и стихи, чтоб ни бельмеса не понимать. А что Федор Кузьмич, слава ему, на голоса разговаривает, так это что ж... Это, поди, всякий так. Вон Бенедикт: с утра из дому по солнышку шел, снегом поскрипывал, мысли всякие хорошие в голове вертел, и все ему было нипочем. А нынче, на ночь глядя, весь он словно другой: слабый и боязливый, и темь за окошком такая, что на улицу выйти – как в валенок головой, а надо. И Оленьки нет, а без нее в избе еще тошнее.

Ударили в колотушку: кончай работу.

Голубчики с мест повскакали, письменные палочки побросали, слюной свечки тушат, спешат, зипуны натягивают, в дверях толкаются. Шакал Демьяныч, малый мурза, столы обходит, готовые свитки в короб собирает, пустые чернильницы в тuesa запикивает, письменные палочки ветошкой обтирает. Ворчит, что ржави много изводим, что палочек не напасесси, дак на то он и мурза, чтобы зудеть, людей язвить, а дана ему такая власть над нами, потому как он есть Ветеран Ледового Побойща. А что за Побойще, и в какие годы и с кем Шакал Демьяныч побивался, и много ли голубчиков уложил палицей али клюкой – про то не знаем, да и знать не хотим, да и скажут – не запомним.

Вот и кончен день, и погас, и отгорел, и пала ночь на городок, и Оленька-душа растворилась где-то в кривых улочках, в снежных просторах, как придуманная; и съеден мимолетный друг-колобок, и теперь Бенедикту поспешать домой, добираться по пригоркам, по сугробам, спотыкаясь, и падая, и зачерпывая снег рукавом, и на шаривая тропинку посреди зимы, и разводя зиму руками.

Зима – ведь это что? Это как? Это – вошел ты в избу с мороза, валенками топая, чтоб сбить снег, обтряхиваешь и зипун, и задубелую шапку, бьешь ее с размаху об косяк; повернув голову, прислушиваешься всей щекой к печному теплу, к слабым токам из горницы: не погасло ли? – не дай бог; рассупонившись, слабеешь в тепле, будто благодаришь кого; и, торопливо вздув огонь, подкормив его сухой, старой ржавью, щепками, полешками, тянешь из вороха тряпиц еще теплый горшок с мышинными щами. Пошарив в потайном укрытии, за печью, достаешь сверток с ложницей и вилицей – и опять будто благодарен: все цело, не поперли, вора, знать, не было, а коли и был, дак не нашел.

И, похлебав привычного, негустого супу, сплюнув в кулак коготки, задумаешься, глядя в слабый, синеватый огонек свечки, слушая, как шуршит под полом, как трещит в печи, как воет, подступает, жалуется за окном, просится в дом что-то белое, тяжелое, холодное, незримое; и представится тебе вдруг твоя изба далекой и малой, словно с дерева смотришь, и весь городок издалека представится, как оброненный в сугроб, и безлюдные поля вокруг, где метель ходит белыми столбами, как тот, кого волокут под руки, а голова запрокинулась; и северные леса представятся, пустынные, темные, не-проходимые, и качаются ветки северных деревьев,

и качается на ветках, – вверх-вниз, – незримая кысь: перебирает лапами, вытягивает шею, прижимает невидимые уши к плоской невидимой голове, и плачет, голодная, и тянется, вся тянется к жилью, к теплой крови, постукивающей в человеческой шее: кы-ысь! кы-ысь!

И тревога холодком, маленькой лапкой тронет сердце, и вздрогнешь, передернешься, глянешь вокруг зорко, словно ты сам себе чужой: что это? Кто я?

Кто я?!..

Фу-ты... Это же я. Словно на минуточку себя выпустил из рук, чуть не уронил, еле успел подхватить... Фу... Вот что она делает, кысь-то, вот что она уже издалека с тобой делает, вот как она вынюхивает, чувствует, нашаривает, – через дальнюю даль, сквозь снежную бурю, сквозь толстые бревенчатые стены, а случись она рядом?..

Нет, нет, нельзя, ну ее, не думать о ней, гнать, не думать, вот засмеяться надо или сплясать – вприсядку пуститься, как на Майский Выходной, песню дробную, громкую запеть!

Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! Да разлюлюлечки ду-ду! Да трилялюшечки мои! Да тритатусечки мои!!!

Вот так... Вроде легче... Искусство возвышает, учит Федор Кузьмич, слава ему. Но искусство для искусства – это нехорошо, учит Федор Кузьмич, слава ему. Искусство должно быть тесно связано с жизнью. «Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?» – может быть... Не знаю.

Да и что мы про жизнь знаем? Ежели подумать? Кто ей велел быть, жизни-то? Отчего солнце по небу катится, отчего мышшь шебуршит, деревья кверху тянутся, русалка в реке плещет, ветер цветами пахнет, человек человека палкой по голове бьет? Отчего другой раз и бить неохота, а тянет словно уйти куда, летом, без дорог, без путей, туда, на восход солнца, где травы светлые по плечи, где синие реки играют, а над реками мухи золотые толкутся, неведомы деревья ветви до воды свесили, а на тех ветвях, слышь, белым-белая Княжья Птица Паулин. А глаза у той Птицы Паулин в пол-лица, а рот человеческий, красный. А красоты она таковой, Княжья Птица-то, что нет ей от самой себя покою: тулово белым резным пером укрыто, а хвост на семь аршин, как сеть плетеная висит, как марь кружевная. Птица Паулин голову все повертывает, саму себя все осматривает и всю себя, ненаглядную, целует. И никому из людей от той белой птицы отродясь никакого вреда не бывало, нет и не будет. Аминь.

Зело

Богатые – они потому богатыми называются, что богато живут.

Взять Варсонофий Силыча, Большого Мурзу. Он над всеми Складами надзирает, решает, когда Складской День назначить, да чья очередь подошла, да какой товар народу раздать.

Ума Варсонофий Силыч государственного, такового же и вида: тучности прямо изумительной, даже и для мурзы редкостной. Вот ежели человек шесть голубчиков вместе связать, так это и до половины Варсонофий Силыча недотянет; нет, недотянет!

Голос у него тяжелый, сиплый и вроде как медленный. Скажем, надобно объявить работникам, чтоб в воскресенье, под Майский Выходной, Центральный Склад отворили и выдали народу по полпуда хлебеды да по два мотка ниток некрашенных. Другой бы, кто попроще, открыл рот, да и сказал что надобно, да и опять рот закрыл, до другого раза.

А вот и вышел бы подход негосударственный, и никто б его, такого, не слушался, и не бывать бы такому Мурзой.

А у Варсонофий Силыча как заведено: призовет с утра малых мурз, Складских Работников, и начнет: «Р-а-з-д-а-й-т-е.....», а что раздать, и не выговорит до вечера, потому как ему казенного добра жалко.

А и то, как не пожалеть! Это, полпуда-то, – на одного голубчика, а еще выдай и на бабу его, и на детишек, и на дедульку-бабульку слепеньких да хроменьких, да с каждого обихода родня али работники, да и перерожденцев кормить надо? – надо, – а изоб-то в одной Центральной Слободе, почитай, тыща, а ежели весь Федор-Кузьмичск, весь городок наш, набежит кормиться, так это же добра не напасешься!

А самому есть? А семье? А Складским Работникам? А холопам ихним? И-и, милые! – то-то! Без подхода не-льзя!

И ум нужен: думу думать. Скажем, крышки. Опять-таки, простой голубчик, из жалостливых, как бы рассудил? – взять все крышки да попросту и раздать. Мигом бы слух прошел, набежало бы народу – не продохнуть, толчея, давка, крики; на закукорках у ходячих – увечные, те, кого в прошлые разы подавили; вопят: «Инвалиду!.. Инвалиду крышку!!!»; в толпе дети малые снуют – по карманам шарить, подворовывать; кто кота на веревке тащит, кто козляка, чтоб лишнюю крышку прихватить: это, дескать, шурин мой, тоже хочет, а что у него шерсть, рога али вымя – дак это, голубчики, Последствие, али вы сами беленькие? – то-то.

Друг друга поубивают, крышек наташат сколько повезет, – у кого и сердце насмерть лопнет таскаючи, – а опосля в избе сидят, смотрят чего набрано, сами в ум не возьмут: а чего с ними делать-то? Чего ими покрывать? Эта велика, а та мала, никуды не приткнешь. Повертят-повертят, побьют с досады, да и свалят на задний двор под плетень.

Нет, с нами так нельзя.

Вот Варсонофий Силыч, все это рассудивши, да рассмотревши, да думу думавши, и решает: крышек нипочем не выдавать. И народ, и крышки целее будут.

А еще думает: коли суп без крышек кипит, дак он наваристее выходит, вроде как уседает. Оно и вкусней.

А еще думает: коли крышек нетути, дак мечта у каждого будет заветная: эх, крышечку бы мне! А с мечтой и жить сподручней, и засыпать слаще.

Вот оно-то и есть государственный ум.

Оттого и живет Варсонофий Силыч богато, терем у него двухъярусный, с маковками, на верхнем ярусе в обвод терема настил пущен на подпорках, называется галерея, по галерее – для страху – холопы расхаживают, поглядывают, нет ли против хозяина злоумышления, не желает ли кто камнем кинуть в его палаты али чем побольнее.

Во дворе службы разные: сараи, амбары, хлев для перерожденцев, бараки, где холопы живут. А холопов тьма-тьмушая: и мышеловные холопы, и мукомольные, и квасовары, и грибышатники, и хвощевники, и кого только нет! Есть и девки-поломойки, и пряжи, и ткачихи, а есть одна баба особая, и приставлена та баба снежки катать, толчеными огнецами, как мукой, обваливать и к столу подавать, и Варсонофий Силыч те снежки кушать изволит.

Бенедикт один раз сподобился Варсонофий Силыча во всей славе его лицезреть: шел себе мимо да и видит: стой, не пройдешь, малые мурзы дорогу перегораживают, на голубчиков гавкают, а кого и по спине колом огреют: не суйся. Тут тесовые ворота открываются, колокольцы звенят, перерожденцы валенками топочут, сани скрипят, – ма-а-а-атушки мои! – в саях Варсонофий Силыч гора-горой расемши. Народ обрадовался, шапки поскидал, в пояс кланяется: «Доброго здоровычка, долгих лет тебе жизни, Варсонофий Силыч, кормилец ты наш ненаглядный, супруге твоей тож, деткам тож! Что б мы без тебя пили-ели, родной ты наш, золотиношка ты наша слатенькая!»

Вот так ему все кричат – и Бенедикт тоже, – чтобы он, ирод, размяк маленько, еды другой раз прибавил: сальца, репы, хвощей к праздничку, а не сам все съедал-то.

А вот Федора Кузьмича Бенедикт никогда в глаза не видал. И уж не чаял сподобиться.

И вот оно, пожалуйста: нонеча, в обычный день, самый что ни на есть простецкий февральский денек, серый, мутноватый, метелистый-порошистый, с северным тревожным ветерком, – дует он и сметает снежный порошок с крыш за воротник, холодит голубчикам шею, набивается в бороду, красит уши в маков цвет, – словом, в обычный такой день, сегодня! сегодня! – подкатали к Рабочей Избе сани, а в саях гонцы разряженные, в кушаках, да шапках, да рукавицах, да ноговицах, да боже ты мой чего на них только не наверхено! – и объявили: жалует вашу Избу сам Федор Кузьмич, слава ему, пресветлым своим посещением.

А в Рабочей Избе, ёшь твою двадцать, с утра все печи погасли. Ночные работники, истопники, вместо того чтобы дровишки подкладывать да огонь раздувать, упились ржави, а может, квасу, а может, слышь, и гонобобелю нанюхались, хоть это и своеволие, – да все и проспали. Как протерли глаза, кинулись к печам – а там один пепел холодный, да и тот в трубу выдуло.

Крику!.. Крику-то матерного, отборного! – другой раз за год столько не услышишь, а что делать? – делать нечего; побежали в соседние Рабочие Избы за огоньком, а те не дают. Вы нам в прошлый раз не дали, а мы вам – теперь; хозяйство – дело рук каждого, разбирайся сам. А что нам за дело, что вы казенные; мы чай еще казеннее вас. Пошли, пошли отседа, козолупы дроченые! шас мы вам вдогонку звездюлей-то накидаем.

Так наши и убрались ни с чем, а тут, вишь, гонцы. Наши перепугались, озлобились, чуть не плачут; кто руки заламывает, кто со страху описался, а Константин Леонтыч, что в углу у окошка сидит, на время как бы из ума вышел: стал кричать, что, дескать, вижу, вижу столп бестелесный, пресветлый, преужасный, громopodobный и стоочитый, и в том столпе верчение, и струение, и крылья, и зверь, идущий на четыре стороны.

А начальство, точно, озверело и побежало на четыре стороны, с криками да воплями: где Никита Иваныч, Главный Истопник? подать сюды Никиту Иваныча!

И Бенедикт тоже вместе со всеми заволновался, забегал – аж в висках застучало, в глазах темь пятнами пошла: Никита Иваныч! Где Никита Иваныч! Ведь вот, ведь сейчас, событие-то какое, случай-то какой, Господи! может, раз в сто лет Федор Кузьмич народу показываться изволят, слава ему! В кои-то веки с терема сошел с ясного, с крутоверхого, с-под резных курдалясин, что под кровлей понадрючены, с-под маковок багряных, молодой ржавью крашенных, боботюкалками утыканых, кукумаколками изузоренных! Госсподи!.. Госсп...! Радости-то, страху-то, радости-то!.. Да я...! да куда же мне...! да Гос-споди!.. да где же Никита Иваныч, язви его!.. Не понимает, что ли?!

Гонцы той порой с саней поскакивали и давай расстилать чего с собой понавезли: половики камчатные, узорные да плетеные по всей Избе раскатали; и на крыльце половики, и с

крыльца половики; мигом снег вокруг избы утоптали и медвежьими шкурами вроде как полукруг выложили; благолепие такое, что вот сейчас умри, и не пожалеешь. Васюк Ушастый припал всеми ушами к земле и слушал: не едут ли; и вот уж кричит: «Слышу! Едут!» – и сразу вдали будто облако белое задрожало: снег пылит. Выросло облако, надвинулось, и народ чуть не умер, но зря: то лишь малые мурзы оказались, для пущей важности проехали: дескать, трепещите загодя.

Вот проехали они, только народ понапрасну попужали, а уж после, какое-то время прошло, – чу! – будто колокольцы каменные застучали. И птицы шарахаться начали, и помертвело все, и вот будто туча снежная идет, а в ней смерчи вертятся. Тут все, как есть, кто стоял у крыльца: истопники нерадивые, писцы, Оленька мелькнула, повара из Столовой Избы, так прохожие – все, кто набежал посмотреть, – повалились лицами долу, и Бенедикт с ними, так что как подъехали, как из саней выходили, чего такое было и каки-таки церемонии, али возня, али что, – ничего он не видел и не слышал, а только сердце в ушах билось, колотилось: туки-тук! туки-тук! Опомнился, только когда его пинками с сугроба подняли и в избу погнали благоговеть. А там! – даже будто и теплее стало: лепота, половиками все укрыто, аж на тубаретках половики, на лавках половики, окошки кружевами кисейными укрыты, весь сор в углы заметен и берестой прикрыт, так что и не видать, разве что пованивает; а свечей понатыкано – ужаси, да только ни одна не горит. Огня нетути. Никиты Иваныча нетути. Вот кто-то Бенедикта в спину торкнул: садись, голубчик, Федор Кузьмич не любит, когда столбом стоят. Бенедикт сел, замер и смотрит.

И все замерли, и совсем мертво стало. И из-за дверей шажки такие меленькие: туку-туку-туку, – и в избяные сумерки, на багряный половичок ступает Федор Кузьмич, слава ему.

– Вот и я, голубчики, – говорит.

И от страха и радости в голове у Бенедикта жар сделался, а в груди словно бы какое пространство расширилось, а посередь того пространства ровно кулаком стиснуло, подперло и не продыхнуть. И смотрит Бенедикт как сквозь туман, и диву дается: ростом Федор Кузьмич не больше Коти, едва-едва Бенедикту по колено. Только у Коти ручонки махонькие, пальчики розовенькие, а у Федора Кузьмича ручищи, как печные заслонки, и пошевеливаются, все пошевеливаются.

– Не ждали? – говорит Федор Кузьмич, засмеявшись. – Картину я хочу такую нарисовать: «Не ждали», ага. Думаю, понравится. Там, это, ну, один входит, а другие, значит, с мест повскакавши и удивимши. Ну, давайте разговоры разговаривать. Как живется, работается, чего такое делаете?

– Переписываем, Федор Кузьмич! – зашумели голубчики, а Федор Кузьмич засмеялся, и многие тоже смеяться стали, вроде как облегчение вышло: простой такой Федор Кузьмич, слава ему, оказался; может, и пугаться нечего, разве что вот руками шевелит.

– А дайте-ка я тоже сяду, – опять засмеялся Федор Кузьмич. – Охота к народу поближе, ага.

Головой по сторонам повертел и прыг на колени к Оленьке. А она его поперек живота ухватила, как Котю, и держит. Не боится.

– Крепче держи, а то свалюсь, ага, – говорит Федор Кузьмич. – Под микитки держи, двумя руками. Только не щекоти, ага.

– Рады встретиться, Федор Кузьмич! Долгих лет жизни! – заговорили голубчики. – Сподобились! Спасибо вам!

– Спасибо вам за ваше искусство! – крикнул Васюк Ушастый.

– Спасибо, что вы есть! Спасибо! – это бабы.

– Я завсегда рад встречам с интеллигенцией, ага, – Федор Кузьмич головку вывернул и снизу Оленьке в личико посмотрел. – Особенно когда тут такие лампампушечки меня под микитки держат. Верно? Только не щекоти.

– Верно, Федор Кузьмич, – зашумели голубчики.

– Вот думаю картин много понарисовать, – сказал Федор Кузьмич. – Если, конечно, ржави хватит, ага.

Тут все совсем развеселились: уж чего-чего, а ржави всегда хватает.

– Построю большую-пребольшую избу, картинки нарисую и гвоздиками к стенкам приколочу, – делился Федор Кузьмич. – И в честь себя назову: Каблуковская, дескать, галерея. Ежели кто не знает: Каблуков – моё фамилие.

Так все и грохнули: кто ж этого не знает.

– Вопросы какие будут? Может, чего непонятное сказал, дак вы спрашивайте. Спрос не ударит в нос, верно?

– Верно! Ой, верно, Федор Кузьмич, долгих лет вам жизни! – закричали голубчики. – Правильно! Вот в самую точку попали! Ну до чего ж верно, вот в аккурат в самую середку! Точно! Точно! Так и есть!

– А картины – это что? – Оленька голосок подала.

Федор Кузьмич, слава ему, опять головку вывернул и опять на нее посмотрел.

– А вот увидите. Сурприз вам будет. Это вроде рисунка, только крашеное. Один сюжет я придумал смешной, ужаси. Там один голубчик мыша ест, а другой, значит, к нему в избу входит. А этот, который ест-то, значит, мыша прячет, чтоб тот-то, другой, не отнял. А называться будет «Завтрак аристократа», ага. А еще чего я придумал-то. Одну картину я красил, а она у меня вышла не очень. Назвал «Демон». Ну там я все синим позакалякал, ага. Так я думаю вам ее в рабочую избу подарить, ага. Повесьте ее тут где-нибудь, чего она у меня зря болтается. – И рукой свите махнул: – Подайте ее сюды.

Вот один из свиты за пазуху полез, коробку берестяную достал, из коробки тряпицу вынул, развернул, а там вроде как лист какой – береста не береста, а побелее будет. Тонкая-тонкая. Вчетверо сложена. Развернул, а там ярко-ярко так, глянули, – а и не понять, чем покрашено-то, и все вправду синее. Подали Федору Кузьмичу, он картину-то эту ручищами разгладил и обратно подает:

– Кто у вас старшой-то? Повесьте на стенку.

Константину Леонтычу как раз кляп изо рта вынули – оклемался маленько; он громче всех закричал «спасибо», тонко так и громко, как козляк, прямо у Бенедикта над ухом: оглушил, бя. А Бенедикт не знал, что и думать: первый свежий страх вроде отступил, а вместо него в душе – смурно, что ли. Надо бы сильнее благоговеть, а благоговется как-то слабо, что ли. Криво как-то. Вот если бы на земле распластаться, на четвереньках, коленки подогнувши, а руки эдак вперед и в стороны разбросавши, а лбом об пол бить – тогда лучше получается. Не зря придумано. Тогда восторг так прямо из тебя и прет, как все равно отрывка; так бывает, если мочеными хвощами объешься: в животе печет и прихватывает, и из нутра в глотку все пузыри, пузыри прут. А на тубаретке сидючи какой восторг? Вроде как ты, простой голубчик, Набольшему Мурзе ровня: ты сидишь, и он сидит; он тебе слово, ты ему слово. Не дело это. И даже, слышь, дерзость в нутре родится и зависть берет: эй, Мурза, ты зачем к Оленьке на коленки сел? А ну слезай. А то щас как ссажу. Подумал так – и еще смурнее сделалось: эка. Как он про Федора Кузьмича сейчас представил. Чего это?

Тут Варвара Лукинишна робко голос подает:

– Федор Кузьмич, вот я спросить хотела... У вас в стихах все настойчивее превалирует образ коня... Поясните, пожалуйста, «конь» – это что?..

– Чой-то? – переспросил Федор Кузьмич.

– Конь...

Федор Кузьмич улыбнулся и головой покачал.

– Сами, значит, не можем... Не справляемся, ага... Ну-ка? Кто догадливый?

– Мышь, – хрипло вышло у Бенедикта, хоть он и положил себе помалкивать: так на душе криво было.

– Вот, голубушка. Видите? Вот голубчик справился.

– Ну а «крылатый конь»? – волнуется Варвара Лукинишна.

Федор Кузьмич нахмурился и руками пошевелил.

– Летучая мышь.

– А как понимать: «скребницей чистил он коня»?

– Ну, голубушка, вы ведь сырую мышь есть не будете? Шкурку сымете, правильно? Ежели суфле али бланманже с ее взбить, вы ж ее всю пообдерете, верно? Ежели, к примеру, вам с ее, с мыши, вздумалось пти-фри а ля мод на ореховой кулисе изготовить али запечь под бешамелью с крутонами? А то мышаток малых наловишь и давай шнель-клопс наворачивать, блинчатый, с волованчиками? Нешто вы их не почистите? – Федор Кузьмич посмеялся эдак недоверчиво и головкой покрутил. – А?! Что ж мне вас учить. Думаете, мне сочинять легко? Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды, ага. Забыли? Я ж об этом сочинял. Не спи, не спи, художник. Не предавайся сну. Да и окромя искусства дел неупророт: день-деньской изобретаешь, крутишься-крутишься, ажно мозги вспухли. На мне ж все государство. Другой раз и не присядешь. Вот сейчас Указ сочинил, на днях получите, ага. Хороший, интересный. Спасибо скажете.

– Слава Федору Кузьмичу! Долгих лет жизни! Заранее благодарны! – закричали голубчики.

Тут отворились двери и вошел Никита Иваныч. Все на него обернулись. И Федор Кузьмич тоже. А он вошел как к себе домой, недовольный, в бороде ржавь застряла, шапку не снял, на колени не повалился, не закатил глаза под лоб. Не зажмурился.

– Доброе утро, граждане. – Раздраженный такой. – Ведь неоднократно просил: поаккуратнее с печами. Следить надо. Старого человека постоянно гоняете.

– Истопник Никита, знай свое дело, разжигай печь! – закричал Шакал Демьяныч страшным и зычным голосом.

– Вот что, Шакал, вы мне тут не тычьте, – взвился Никита Иваныч. – И не указывайте!.. Мне триста лет, и я бюрократического хамства еще при Прежней Жизни навидался, благодарю покорно!.. Это ваша задача, ваша элементарная задача: поддерживать минимальный порядок! Ваши коллеги пьянствуют, а вы меня дергаете по пустякам. А в массовом алкоголизме, Шакал, отчасти и ваша вина. Да-да!!! Не первый раз вам говорю!!! Вы не склонны уважать человеческую личность. Как и многие, впрочем. И ваш ветеранский статус, – Никита Иваныч голос повысил и кривым пальцем по столешнице постучал, – попрошу не прерывать! ваш ветеранский статус не дает вам права меня третировать!!! Я такой же хомо сапиенс, гражданин и мутант, как и вы! Как и вот, – рукой повел, – остальные граждане!

Все уж привыкли, знают, что Никиту Иваныча нечего слушать: несет бог знает что, сам небось половину слов не понимает.

– Тута сам Федор Кузьмич, слава ему, присутствуют!!! – затрясся Шакал Демьяныч.

– Тута я присутствую, – кашлянул Федор Кузьмич. – Разжигайте печку, голубчик, ради бога, ноженьки померзли. Разжигайте, чего зря сердчать.

Никита Иваныч только рукой махнул. С досадой. И пошел к печи. А что глава государства, не абы кто, пресветлым посещением осчастливить изволил, что беседу с народом беседует, что думками своими государственными делится, что картину в дар изволил передать, что стража с крюками и алебардами застыла навтыжку, что Константин Леонтыч опять с кляпом сидит, веревками повязанный, чтоб не смел, что у Варвары Лукинишны от напряжения все гребешки ходуном ходят, что пол багряными половиками изукрашен, – это ему как будто все равно. Прямо лаптями по государственным половикам прошел, наследил. Все так и замерли.

– Ну хорошо, где дрова? – недовольно так буркнул.

Малые мурзы с дровами подбежали, в печь покидали. Все смотрят, и Федор Кузьмич смотрит, и Бенедикт смотрит: никогда он не видел, как Главный Истопник огонь разжигает. А у него в руках ничего нет. И из кармана ничего не торчит.

На корточки сел. Посидел. Подумал. Голову повернул и глазами всех обвел. Опять подумал. А потом как раскроет рот, да как хыхнет: хыыыыыыыыххххх! И изо рта его, как столб, как ветер, вышел, клубясь, огонь и вошел в печь, и ахнуло и загорелось в широкой печи, и затрещало, вздуваясь, пламя желтыми языками, словно Окаян-дерево в весеннем цвету.

И от страха и криков людских опять помутилось у Бенедикта в голове, только и видел, что Федор Кузьмич ручищами толк, да на пол прыг, да и был таков. Как опомнился – бросился на улицу, глядь: только снег с земли до неба поднялся, а в том снеге опять смерчи ходят. И малые мурзы в обратную сторону проскакали.

А в избе опять ни половиков, ни шкур, стены одни голые, закопченные, пол мусором покрыт, печь гудит, тепло от нее волнами бежит, и от того тепла синий «Демон» на стенке шевелится, будто сойти хочет.

Иже

Ах, позавидовал Бенедикт Никите Иванычу! Вечером после работы, добравшись до дому, он как всегда, волнуясь, проверил печь, и, как назло, как уж часто бывало, печь погасла. На часок бы раньше прийти, оно, может, и ничего бы, еще какая-то жизнь теплилась бы в угольках, еще можно бы, пожалуй, на колени встав и вывернув шею, как если бы молясь, дуть, дуть – выдуть живой огонек из сизых, засыпающих деревяшечек. Да, часом раньше – еще можно бы. Да рабочий день длинен, да пока на работу доберешься, да с работы бегом бежишь – как нарочно, словно кто рассчитал, чтоб тебе не поспеть к сроку! Суп-то, конечно, еще не простыл, если горшок тряпками замотан был как надо; похлебать можно, но вкус у него грустный, вечерний; ешь на ощупь, в темноте, – ведь и свечу разжечь нечем, и жалко себя, так жалко! Изба тоже еще не простыла, можно спать завалиться: в зипуне, в шапке; это только ночью подмерзать начнет: поползет зима в худые щели, в пазы, будет задувать под порог, дышать холодом из подполья. А утром в избе смерть, да и только.

Нет, так долго не протянешь, надо либо к истопникам идти огня просить – готовь сюрпризы, голубчик, – либо к семейным соседям стучать, побираться, ежели не очень злые. У семейных жизнь легче: пока хозяин работает, баба дома сидит, по хозяйству поворачивается, за печью досматривает. Варит. Печет. Мусор метет. Прядет, может. Да только не будешь же изо дня в день попрошайничать, эдак никакого терпения у соседешек не хватит: дадут в лоб оглоблей. А не то, может, они спать завалились, а не то лаются промеж собой, как у семейных принято, али дерутся, в волосья вцепившись, а тут ты, нате вам: не пожалуете ли угольков, добрые голубчики?

А вот Никите Иванычу, стало быть, ни семья, ни баба, ни соседи не надобны, и печь хоть сто раз погасни – ему все равно. Пыхнул – и разжег. Он, стало быть, и закурит когда хочет, хоть он в лесу, хоть в поле, хоть где, – огонек с собой. Пожелает – костерок запалит, сядет к огню, подбрасывая сухой бурелом, веточки, дрянь лесную, опадыши чащобные; станет глядеть в красно-желтое, живое, шевелящееся, теплое, пляшущее. Ни просить не надо, ни кланяться, ни челом бить, ни пугаться – ничего. Свобода! Вот бы Бенедикту так! Вот бы так!..

Он еще раз, в крошечной тьме, ощупал горшок с теплым супом, пошарил руками в окрестностях: где ложица? А черт ее знает, сунул куда-то и забыл. Опять через край хлебать? Да сколько же можно, ведь он не козляк?..

Выбрался на крыльцо. Господи! Какая тьма. На север, на юг, на закат, на восход – тьма, тьма без края, без границ, и во тьме, кусками мрака, – чужие избы как колоды, как камни, как черные дыры в черной черноте, как провалы в никуда, в морозное безмолвие, в ночь, в забвение, в смерть, как долгое падение в колодец, вот как во сне бывает, – падаешь и падаешь, и нетути дна, и сердце становится все меньше да меньше, все жальче да туже. Господи!..

А над головой – небо, тоже чернее черного, а по небу, узором, голубоватые пятнышки звезд, то гуще, то слабее, словно бы дышат, пошевеливаются, словно бы тоже задыхаются, ежятся, хотят оторваться, а не могут, намертво приколочены к черной небесной крышке, накрепко прибиты, не сдвинутся. Прямо над головой у Бенедикта, всегда над головой, куда ни отойди, – и Корыто, и Миска, и пучок Северных Хвощей, и ярко-белый Пупок, и россыпь Ноготков, и мутно, тесно, густо сбитое, полосой через весь ночной небосвод Веретено, – все тут, всегда, сколько себя помнишь. Родись, умри, встань, ляг, пляши на соседской свадьбе или поутру на малиновом суровом восходе проснись, как от удара палкой, испуганный, как если бы ты один остался живой на свете, – они всё тут, всегда тут, бледно мигающие, подслеповатые, вечные, молчаливые.

За спиной – остывающая изба. Щи. Лежанка. На лежанке – тряпье: валяное одеяльце, что от матушки осталось, летний зипун – ноги укрывать; подушка перьевая, замусоленная. У окна

должен быть стол, у стола тубаретка, на столе расщепа с сальной свечкой, да в чулане свечей запас, да ржави с полпуда, да в заглашнике, от воров припрятаны, валенки запасные, да вязаные носки, да лапти на весну, да каменный ножик, да сушеных грибышей связка, да котелок с ручкой. Утром были, во всяком случае. Живи не хочу. Все есть. А все чего-то неможется. Все чего-то свербит, свербит.

...Али богатства алчу? ...Али свободы? ...Али помереть боюсь? ...Али куда уйти хочу? ...Али вознесся дерзостью до высот своеволия, мыслю себя мурзой, а не то каким властелином неудобосказуемым, агромадным, волшебным, всевластным, главным-преглавным, голубчиков потаптывающим, во тереме обретающимся, руками пошевеливающим, главой помавающим?.. А как Федор Кузьмич-то, слава ему, в сени взошел – и все повалилися... А как Никита-то Иваныч огнем хыхнул...

А ничего старик не боится, никто ему не надобен – ни мурза, ни соседи. Потому такая сила ему дана, такое Последствие завидное: огонь у него внутри вырабатывается. Да он захочет – всю слободу спалит, да чего: весь городок, все леса вокруг, весь блин земной! Потому, знать, и начальство его стороной обходит, не придирается, как к нам, простым голубчикам; его же сила, и слава, и власть земная!.. Ох-ти, охтенки, а нам, малым да сирым, в ночи на крыльце стоять, вдыхать морозную тьму, выдыхать тьму чуть теплую, переступать с ноги на ногу, задирать личико к далекому небесному Веретену, слушать, как слезы мороженым горошком шуршат, скатываются в заросли бороды, слушать, как молчат черные избы на черных пригорках, как поскрипывают высокие деревья, как ноет метельный ветер, как доносит порывами – чуть слышно, но явственно – далекий, жалобный, северный голодный вой.

И краткое

Не обманул Федор Кузьмич-то, слава ему, – в аккурат через неделю после пресветлого своего посещения изволил издать Указ, и по всем Рабочим Избам тот Указ раздали для переписывания и размножения, досталось переписывать и Бенедикту.

Шакал Демьяныч всех собрал и объявил – как будто сами не знаем, – что государственное постановление должно быть в кратчайшие сроки доступно всем голубчикам, а посему чтоб быстро и с красивыми завитушками тот Указ перебелили и на каждом углу, где есть щит, чтоб приколотили копию.

УКАЗ

Вот как я есть Федор Кузьмич Каблуков, слава мне, Набольший Мурза, долгих лет мне жизни, Секлетарь и Академик и Герой и Мореплаватель и Плотник, и как я есть в непрестанной об людях заботе, приказываю.

Праздновать Праздник Новый Год.

Этот праздник чтоб праздновался Первого Марта навроде Майских Выходных.

Тож же выходной.

Значит никому на работу не ходить, пей-гуляй, что хочешь делай, но в меру, а не так как бывает другой раз что буяните и все пожжете а потом разгребай.

Этот Праздник Новый Год праздновать так: обрубить в лесу дерево так небольшое разлапистое, чтоб в избу влезло а кто хочет ставь во дворе. Вторнуть его дерево это в пол или куды придется, чтоб держалось, а на ветки повесить всякой всячины что у кого есть. Можно нитки цветные крученые али так, можно орехи, огнецы или чего не жалко чего дома завалялося всякая дрянь по углам всегда бывает другой раз и сгодится. Покрепше там примотайте чтоб не падало сами знаете.

Свечки то же зажгите чтоб светло и весело.

Всякой вкуснятины наварите-напеките не жалеите все равно скоро весна в лесу всего полно понавыврастет.

Гостей зовите соседей, родню, всех угощайте, ничего не жалеите, не объедают, сами же то же есть будете.

На дудках играйте кто сподручный, на колотушках, можно впрысядку у кого ноги в порядке.

На себя одежду хорошую наденьте, расфуфырьтесь, в волоса то же повтыкайте чего ни попадя.

Может кому помыться охота дак я велю Бани открыть в дневное время пожалуйста заходи мойся но только дрова с собой приносите а то на вас не напасесси.

Интересно будет вот увидите.

Каблуков

Бенедикт перебелил Указ четырежды, отдал Оленьке бересту, чтобы буквицы покрасивее изукрасила – плетеными ленточками, птичками и цветочками, потому как дело сурьезное, или, как выразил Шакал, судьбоносное, – и сам просветлел и порадовался. И остальные голубчики,

что в избе работали, тоже просветлели и словно бы выпрямились. А как же не порадоваться: весна на носу! Весна! Кто ж ее не любит! Самый захудалый, паршивый голубчик по весне охорашивается, добреет, на что-нибудь там свое надеется.

Вот пролежишь всю зиму на печи, в копоты да шелухе, да не снявши лаптей, да не мывшись, не чесавшись, уж и нога-то от грязи как все равно валенок – хоть сам любуйся, хоть соседям показывай; уж и борода-то вся гнездами пошла да колтунами – хоть мышей приглашай; уж и глазыньки-то чешуей поросли – хоть пальцами раскрывай да придерживай, а не то захлопнутся, – а придет весна, выползет такой поутру, по весне-то, на двор, по нужде или как, – и потянет вдруг ветром сильным и сладким, будто где за углом цветы пронесли, будто девушка какая вздохнула, будто идет кто невидимый и у калитки твоей остановился, а сам с подарками, – и стоит запселый мужик, и замер, и будто слушает, и ушам своим не верит: неужто, мол?.. Неужто?.. Стоит, глаза остекленели, борода звенит, как ржавь на ветру, как колокольцы малые; рот разинул, а закрыть забыл; как взялся за портки, так и застыл, и от ног уж на снегу два круга черных протаяли, и уж птица-блядуница ему на волосы нагадила, а он стоит, безгрешный, первым ветром омытый, на золотом свету, а тени синие, а сосульки жаром горят и наперебой работают: кап-кап! кап-кап! трень-трень! – стоит, покуда сосед али сослуживец не окликнет, мимо идучи: «Чего торчишь, Эдуард? Али чем подавился?» – и рассмеется по хорошему так, по-доброму, по-весеннему.

Первое Марта – это уж совсем скоро. Это на носу. Правда, еще морозы по ночам знатные, еще жди метелей, еще не раз придется разгрести снег, протапывать тропку к избе наново, а то и проезжие дороги расчищать лопатами, ежели выпадет очередь на дорожную повинность, – а все равно уж легче, уж конец видать, уж и дни вроде как длиннее стали.

Зима недаром злится —
Прошла ее пора,
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

Верно. Так и есть. Таперича надо деревце в лесу подобрать, как указал Федор Кузьмич, слава ему, и обмотать чем у кого завалилось. Голубчики в обеденный перерыв обсуждают: чем. Волнуются.

Ксения-сирота рассуждает:

– У меня два ореха есть и ниток аршин пять в заглазнике схоронено.

Константин Леонтьич мечтает:

– Я из бересты настригу фестонов и кружочков и сделаю симметричные гирлянды.

Варвара Лукинишна:

– Мне так видится: на самую верхушку – огнец, а пониже все бусы, бусы спиральями.

– А из чего бусы-то?

– Ну как... можно из глины шариков накатать и на нитку.

– Из глины?.. Зимой?..

Посмеялись.

– Хорошо горошек нанизать, если у кого запасёно.

– Да, горошек было бы отлично. Полюбовался – и съел. Еще полюбовался – еще съел.

– Может, под праздник из Склада чего выдадут.

– Ага. Держи карман шире. Им самим надо.

– Голубчики! А может, у кохинорцев плетеные туески сменять?

– На что вы менять-то собрались? К весне все подчистую съедено.

– У кого как.

– А вы, Оленька, чем украшать думаете?

Оленька, как всегда, зарделась и потупилась.

– Мы? Мы – что ж... Мы – так... Как-нибудь... Чего-нибудь...

Бенедикт умилился. Стал представлять, как Оленька в новой кацавейке да в сарафане с пышными рукавами сидит за каким-то столом богатым, то взор в столешницу опустит, то на него, на Бенедикта, поглядывает, то на свечки зажженные посматривает, – а от тех свечек глазыньки у ней сияют да переливаются, а румянец во всю щеку так и пышет. И пробор в светлых волосах чистый, ровный, молочный, как небесное Веретено. На лбу у ей тесьма плетеная, цветная, а на той тесьме украшения, подвески покачиваются: по бокам височные кольца, а посередке камушек привешен голубенький, мутный, как слеза. На шейке тоже камушки, на нитку нанизаны, под самым подбородком туго-натуго завязаны, а подбородочек такой беленький, а посередь его ямочка. Вот сидит будто она где-то, словно новогоднее деревце разряженная, расфуфыренная, сама не шелохнется, а сама поглядывает...

А другая Оленька, что вот тут, в Рабочей Избе, картинки рисует и язык высунула, – она попроще и личиком, и одежей, и повадками. А все равно и одна, и другая – все та же Оленька, и как это она так у Бенедикта в голове раздваивается, как это она видится да мерещится – не понять.

Вроде как от простой Оленьки сонный образ какой отделяется, перед глазами висит как марь, как морок, как колдовство какое. Не понять... Простую Оленьку и локтем в бок толкнуть можно, как водится, и шутку ей какую сказать, а то озорство учинить: пока она там рисует – взять, подкрасться да и привязать ее за косу к тубарету, к ножке его. Коса у ей до полу, так оно и не сложно. Привстанет она – в нужный чулан отлучиться али на обед, – а тубарет за ней ка-ак грохнется! Шутка веселая, сколько раз уж пробовали.

А с другой-то Оленькой, с волшебным видением, таких шуток не пошutiшь, кулаком под ребра не пнешь, а что с ей делать нужно – неизвестно, а только из головы нейдет. А видение это всюду навязывается – и на улице другой раз, особенно к вечеру, когда впотьмах домой пробираешься, и в избе... Так и представляется: открыл задубелую дверь, шагнул внутрь – а там, в прокуренном, дымном воздухе, в теплом блинном чаду, посередь всех избяных запахов: кислой мокрой шерсти, душной золы, еще чего-то привычного, домашнего, – посередь всего этого словно зарево какое, словно свечение слабое, – прямо в воздухе Оленька, нарядная, как идол какой: неподвижная, туго бусами замотанная, на молочный пробор расчесанная, только взор поблескивает, ресницы подрагивают, и во взоре тайна, и синее свечное пламя огоньками.

Фу-ты. И не отвязешься.

...Да, вот голубчики небось будут Праздник Новый Год справлять, плясать да пировать, а у Бенедикта в избе, кроме старых носков, ничего не припасено. Да и гостей звать, угощать – напряг большой. Чем кормить-то? Самое голодное время – весна. Бенедикт к весне всегда худел, ажно ребра выпирали. Цельный день на работе, и летом работа – спозаранку в поле, запасы запасать. Измозолишься так, что письменная палочка из пальцев выскальзывает. Руки дрожат, и почерк плохой. Оттого-то летом писцам отпуск положен: какие из них, на хрен, работники. Летом писец, как простой голубчик: косу на плечо – и в поля, в луга, хлебеду косить, хвощи. Снопы вязать. Навязал – тащи в сарай, да опять, да еще, да сызнова, да еще раз, да бегом, бегом, – а пока отлучился, соседи али кто чужой непременно пару снопов попрут, кто с поля, а кто прямо из сарая. Но это ничего: они у меня украдут, я, обозлившись, у них, те у этих, эти у тех, – как по кругу, ан и выйдет справедливость. Вроде все друг друга обворовавши, а вроде все при своем. Более или менее. Это, как выражается Никита Иваныч, стихийное перераспределение личного имущества. А наверно так.

А старикан раньше, когда еще матушка жива была, захаживал и рассуждал и Бенедикта брался учить всяким рассуждениям: думайте, думайте сами, молодой человек, рассуждайте своей головой: не удобнее ли, дескать, было бы без воровства? Сколько бы, говорит, времени и сил сэкономили! Насколько меньше увечий в слободе было бы! И рассудит, и объяснит, и

матушка туда же головой поддакивает: я, мол, всегда сыну то же говорю, излагаю ИЛИМЕНТАРНЫЕ основы МАРАЛИ. Но, мол, пока без толку.

Мараль, конечно, – это хорошо, кто спорит. Но – хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Окромя марали, еще много чего в жизни есть. Как посмотреть.

Ежели бы моего добра голубчики не крали – это, конечно, мараль. Спокойнее на душе было бы.

А с другой стороны. Ну вот накопил голубчик хвощей, так? Теперь в избу носить надо, туда-сюда бегать, так? Только он это взялся, а тут я мимо иду, подмигиваю. Он, ясно, тревожится, снопы прикрывает, от меня загораживает, лицо такое делает беспокойное, вроде как отрицательное, брови накудлатит и с-под бровей взгляды бросает. Вижу такое дело, встану, конечно, рядом, ноги расставя, рот раскрою и ну давай шутики шутить: дескать, что, Демьян? За добро боишься? А? Беспокоишься? То-то, бойся! Тут такое, Демьян, дело, только отвернись! Верно? А? Своего-то жалко? Ишь!..

Вот голубчик и мнетя, и топчется, и мечется, а то и рычит на тебя: чего привязался, пес!.. проходи!.. пасть порву!.. А мне, конечно, хохот. Отойду в сторонку, к плетню прислонюсь али к чему ни попадя, ноги заплету, покуриваю, а сам все посматриваю да подмигиваю, намеки намекаю, все голубчика беспокою. Вот если некогда ему – плюнет, заберет вязанок сколько сможет и тащит, и тащит, волоком али на спине, ежели здоровье позволяет, а сам оглядывается: как там я-то, не разорил ли чего? Не унес ли, не попрятал? Не облегчился ли, часом, на его припасы? Не обсморкал ли заветное? А могу!

Смеху! Веселья! У такого беспокойного хоть одну укладочку беспрерывно попереть надо.

А ежели я ему мараль сделаю, так и веселью не бывать. И что же тогда: иди мимо насупившись, словно с утра не евши? Ни глядеть на чужое добро, ни даже мечтать не смей? Это ж мука! Право, мука-мученическая. Ведь глаз – он такой: он сам на сторону съезжает, в чужое упирается, иной раз аж вываливается. Ноги, хоть и заплетаются, бывает, и мимо пройдут, а глаз прям приклеивается, а за ним и вся голова на шее вывертывается, и мысль как в столб, как в стенку какую упрется: ах, бля, вот бы это мое было! Вот бы!.. Уж я бы!.. Да уж я бы!.. Слюна, ясное дело, с-под челюстей выступает, а то и на бороду натечет. Пальцы сами шевелятся, как будто что прихватывают. В грудях свербит. И будто кто в уши нашептывает: бери! Чего там! Никто не видит!

Ну вот, стало быть, попотевши да потрудившись, да шутики пошутивши, съестного себе на зиму и напасешься. А к весне все и съешь. Так что либо иди, голубчик, в Столовую избу мусор кушать, либо довольствуйся пищей духовной.

А так про книжицы завсегда говорят: пища духовная. Да и верно: зачитаешься – вроде и в животе меньше урчит. Особенно ежели куришь читаючи. Конечно, книжицы разные случаются. Федор Кузьмич, слава ему, трудится бесперебойно. То вот сказки, то стихи, то роман, то детектив, или рассказ, или новелла, или эссе какой, а о прошлом годе изволил Федор Кузьмич, слава ему, сочинить шопенгауэр, а это вроде рассказа, только ни хрена не разберешь. Длинное такое, бля, три месяца, почитай, вдсятером перебеливали, притомились. Константин Леонтьич хвастал, что все понял, – ну, это он всегда хвастает: все смеялись. А, голубчик, понял – дак расскажи сюжет; кто куда пошел, да кого увидел, да с кем шуры-муры крутил, да кого убил? А? Не можешь? – то-то. А называлось: мир как воля и представление; хорошее название, зазывное. Всегда ведь чего-нибудь в голове представляется, особенно когда спать ложишься; зипун под себя подоткнешь, чтоб не дуло, голову тряпьем укроешь, ногу подогнешь, другую вытянешь, кулак под голову али локоть; потом повертишься, подушку на холодную сторону перевернешь, опять зипун подоткнешь, ежели сполз, покрутишься-покрутишься – и засыпаешь.

И представляешь.

То вот Оленьку представишь нарядную, белую, неподвижную, аж под ложечкой засосет; то представишь, как с бабой заигрываешь али с девушкой какой хорошей, ты ее хвать, а она –

ну визжать, а обоим и весело; то будто по улице идешь и чего ценное нашел: кошелек с бляшками али корзину с едой; а не то размечаешься, что пошел ты будто туда, куда не ходили: по тропочке в лес, на восход, и дальше, в луга, и еще дальше, где опять лес незнаемый, где ручьи светлые журчат, дерево береза золотые ветви в ручьях полощет, словно нити длинные, словно волосы девичьи, что на солнце блестят, – полощет, играет, завивает на теплом ветру; а под березой мурава зеленая, папорот резной, жуки с синим переливом, а вот и маков цвет – сорвешь его, вдохнешь, а он сон навевает, и звон далекий в ушах слышать, и будто облака какие в груди плывут, и будто ты на горе, и дороги с горы видны белые, путанные, и солнце светит, играет, обманывает, слепит, смотреть мешает, и будто вдали блестит что – али то Море-окиян, про который в песнях поют? али то острова в море волшебные, с белыми городами, с садами, с башнями? али царство чужое, утерянное? али жизнь другая?..

Так-то вот представляешь, представляешь – ан и заснул.

А только ни о чем таком Федор Кузьмич, слава ему, в шопенгауэре не выражает, – а уж если по правде, то нудьга такая, что не приведи господи. А только народ все равно все раскупил, а лучше сказать, сменял, и теперь кто-то где-то это дело, стало быть, читает, плюется. Народ вообще-то книжицу читать любит, в выходной день на торжище завсегда идет мышей на книги выменивать. Вот малые мурзы на торжище выходят, государственные прилавки вдоль тына раскидывают, берестяные книги выкладывают, в каждую ценник вторнут, али сказать, закладку: почем, дескать, товар. А цены разные: пять мышей, десять, двадцать, а которые особо завлекательные али с картинками – слышь, и до пятидесяти доходит. Голубчики толпятся, прицениваются, обсуждают: брать не брать, да про что книжица, да какой сюжет, да много ли картинок. А заглядывать нельзя: спервоначалу плати, а потом и заглядывай сколько влезет. Малые мурзы на морозе валенками потаптывают, рукавицами похлопывают, товар расхваливают:

– А вот новинка, а вот кому новинка! «Вечный зов», агромаднейший роман!..

– А вот кому «Основы дифференциального исчисления», пупулярнейшая брошюра, агромаднейший интерес!..

А другой и руки ко рту ковшом приставит, чтоб громче слышать было, зычным голосом выкликает:

– «Коза-дереза», последний экземпляр! Увлекательная эпопея! Последний, повторяю, экземпляр!

А это он нарочно, это он врет, у него под прилавком еще дюжина схоронена. А это он так голубчиков привлекает, чтоб толпой набежали: а ну-к и впрямь последний, так чтоб не упустить. А ежели кому страсть как охота книжицу сторговать, дак он и приплатит. Дескать: ой, что, все вышли? А мурза, будто нехотя:

– Ну... есть одна... для себя отложил... не знаю...

А голубчик:

– Может, уступишь? Я пару мышек накину... А?

А мурза:

– Не знаю... Сам читать хотел... Ну разве если пять накинешь...

– Пять? Побойся Бога-то! У меня мышь жирная, за полторы идет!

– Ну, покажи... – так и сторгуются, а все мурзе навар. Оттого-то у них и рыло толще, и изба выше.

А у Бенедикта рыло так себе, на ощупь небольшое, и изба махонькая.

И десятиричное

Всю ночь Бенедикт ловил мышей.

Легко сказать: ловил. Дело это не простое и, как и всякое дело, разумения требует. Оно только кажется, что вот, мол, – ты, и вот – мышь, так хватай ее. Не-е-е-ет.

Ловил он, конечно, удавочкой. Но! – ежели в подполе пусто, ежели мышь перебежала к кому побогаче, то тряси удавочкой, не тряси – ничего не натрясешь. Мышь прикармливать нужно. Стало быть, все должно быть продумано загодя.

Вот двадцатого числа получка была. Пятьдесят бляшек. Так. Налог с их – тринадцать процентов. Значит, шесть с половиной бляшек налогу. Вот с утра спозаранку голубчики в очередь в Выплатную Избу встали. Еще и заря не всходила, темень зимой-то – хоть глаз выколи.

А бывает. Идет голубчик на ощупь, в темноте-то, за получкой – ан и в яму свалится, а не то сучком глаз выколет, а то поскользнется и ногу переломит, а то и заблудится, забредет в чужую слободу, а там его собаки злые порвут; упадет да и замерзнет насмерть в сугробе-то. Все может быть.

Но вот, допустим, слава те, господи, добрались. Хорошо. Встали в очередь. Кто первый добрел – тот в калидоре, али сказать в сенях, расположился. А уж кто в конце – на улице стоит, на морозе перетаптывается. Вот так стоят, переругиваются али разговоры беседуют, гадают, приедет ли выплатной мурза али опять упился накануне-то, ввечеру-то, браги, али квасу, али сусла конопляного. А то шутки шутят: ежели кого из тех, что в сенях, от тепла разморило, дак он на полу и прикорнул, – возьмут такого сонного остороженько под микитки да и отнесут в самый конец очереди. Как проснется такой голубчик – ни хрена не понимает, что, куда да зачем он тут. Рвется, где раньше стоял али лежал, а все ему: куды без очереди прешь? Стой в конце! А он: да я ж первый был! А мы: ничего не знаем! Ну, крики-драки, увечья всякие.

Так времечко и идет, заря розовая, мгlistая на небо всходит, темноту раздвигает. Утренняя звезда Чигирь блестит красотой несказанной, как огнец в вышине. Мороз еще крепче кажется. Искры на снегу искрятся.

Вот ждем мурзу, еще приедет ли? Чуть где в улочках снег пылит, сани мелькнули – кричат: едет! Не едет! Точно он, его шапку видать! – и разное такое. Волнение большое.

Коли до вечера не приедет – так и разойдемся, а коли изволил глаза продрать – ну, быть голубчику с получкой.

Вот стоишь-стоишь – глядь, и достоялся до выплатного окошечка. Твое счастье, нагибайся. А почему нагибайся: потому как оно в аккурат на уровне пупа проверчено, узенькое такое. А это оттого, что мурза по ту сторону на тубарете сидит, оно ему и удобно. А еще затем придумано, чтоб нам в пояс ему кланяться, смирение выказывать, чтоб покорность в организме была. Ведь ежели во весь рост стоишь, бляшки пересчитываешь, дак мало ли что в голову вступит. Дескать, а что так мало-то, или: а чего они рваные, или: да все ли он мне выдал, не зажал ли пригоршню, ирод проклятый; и другое своеволие. А когда в пояс согнешься, да голову набок вывернешь, чтоб видать сподручнее, что дают, да руку-то в окошечко далеко-о-о-о-о-о просунешь – а оно ж глубокое, – да пальцы-то растопыришь, чтоб бляшки ухватить, аж плечо заломит, – вот тогда и чувствуешь, что такое есть государственная служба, ея же и сила, и слава, и власть земная, во веки веков, аминь.

Вот если опять повезло, бляшки и ухватишь. Кто короткорукый, конечно, али хвор в суставе, тот всех денег нипочем не ухватит, а разве часть. Про таких и говорится народная мудрость: руки, мол, коротки. Да и голубчики сзади напирают, торопят, толкают, на спину тебе ложатся, в ухо дышат. Трудности. Ну, Бенедикту силушки не занимать, молодой, – он и отобьется, и бляшки крепко в кулак зажмет, и руку назад из окошка благополучно выпростает, разве костяшки обдерет чуток, ну да это пустяки, дело житейское. Компресс теплый на ночь

поставить, руку обмотать, кровь-то, может, и свернется. А к следующей получке, глядишь, кожа новая и нарастет.

Бляшки у государства вырвал – теперь в другую очередь вставай, налог платить. Это так говорится: вставай, а по собственной воле кто ж встанет? Тут уж, конечно, стража с бердышами, гонит голубчиков по калидору в другую палату, на первый-второй рассчитайся, цепи каменные со всех сторон путь загораживают: все как положено.

А так все то же, только мурза в окошке сидит не выплатной, а налоговый, да и окошко широкое, просторное – сани проехать могут.

Тут дело быстрее идет – почитай, за четыре часа обернуться можно. Шесть с половиной бляшек мурзе отсчитай и отдай. Но бляшку пополам не порвешь, верно? Кому она, рваная, нужна, верно? Стало быть, отдай семь. К концу дня у мурзы этих денег лишних – великие тыщи. Вот он их себе возьмет, кушанья какого купит, али ярус к терему пристроит, али балкон, а то шубу спроворит, а не то сани новые.

На то он и мурза.

А в которых людях государственного разумения нету, а одни пустые измышления, вот как Никита Иванович, к примеру, – дак те говорят: а почему, дескать, нельзя, чтоб один и тот же мурза сам деньги платил, сам и налог удерживал? Что, мол, быстрее было бы.

Эвона, дурачье! Право, обхохочесси слушать! Почему? – да потому что выплатной мурза – он мурза выплатной, а налоги берет – это ж мурза налоговый! Ну? Как же это один мурза тебе и давать будет и отбирать? Ну? Зачем же он тогда вообще на работу приедет, с эдакими деньжищами? Запретса дома, да и давай есть-пить, а то в сани сядет – и на охоту завалится, и поминай как звали, верно?

А и всякий бы так сделал.

Да ежели б налоговый мурза в избе не сидел, денег не отбирал, разве ж выплатной-то когда нос-то на улицу б высунул? Да он, пьянь такая, и не вспомнил бы, что уж двадцатое число, получка; али, к примеру, пятое, аванс!

Его ж небось налоговый с вечера терзает: где бляшки? Не разорил ли казну? Нет ли какого урона моему интересу? Накрепко ли в туеса увязаны, мышь не погрызла ли? – а и это бывает, тогда и получку не дадут. Скажут: пропало незнамо куда, ждите другого раза. Ждем.

Но вот, допустим, все обошлось, получка получена, бляшки в кулаке. На эти бляшки, али, как другие говорят, «рванные», али «кровные», али еще «рубляшки», – ничегошеньки, конечно, не купишь. Кабы их много было – тогда да. Тогда купишь. А так нет. Пообедать разве.

Мышь – она другое дело, ее – вон, всюду полно, каждый день она свежая, наловил, ежели время есть, и меняй ты себе на здоровье, да ради господа, – кто тебе слово скажет? Конечно, и с мыши в казну налог идет, али сказать, ясак, – домовый, подушный, печной, всех не пересчитать, но это ж совсем другое дело.

Стало быть, бляшки у Бенедикта в кулаке, полдела сделано. Теперь разумение такое: на эти бляшки покупать в Столовой Избе обед, а только хлеб нипочем не есть, приберегать, домой носить и тем хлебом мышей прикармливать. Каждый день им по куску крошить, – набегит их, сердешных, видимо-невидимо.

И на этот раз так все счастливо и вышло, как и задумывалось! Все сошлось! Всю-то ноченьку Бенедикт мышей ловил, и к утру у него на веревочке, вот не соврать, двести семьдесят две штуки барахталось, толстоморденькие, серенькие, шкурка шелковая! Ну, может, не двести семьдесят две, а сто пятьдесят шесть. Много! Сбилса считаючи. А почему удача такая – а потому, что все продумано было загодя, все было промыслено грамотненько, тщательно.

Ахти мне! – красота ума человеческого, кто б ее воспел? Кто бы взялся песню сложить, громкую, счастливую, да с руладами, да переливами, да чтоб выйти на бугор али на холм какой, покрепше встать, расставя ноги, а руками-то размахнувши в стороны, да и топнуть! ножкой-то! – только чтоб не упасть, конечно, – топнуть, говорю, да и – эх! – да разлили мои

лёли, эх! – дак вы ж мои люли!!! Зеленеет травка-муравка, да эх! – да травка-муравка!!! Ах! – зеленая травка; эх! – зеленая травка!!!

Не так, пожалуй, но что-нибудь такое, разудалое, радостное, чтобы напев сам из груди рвался, чтоб счастье в голове чувствовалось, чтоб оно, счастье, между ушей бултыхалось, как щи в котелке, чтоб в затылке щекотало. Чтоб на всю слободу, на весь мир разнеслось: слава уму-разуму человеческому, слава! Разумению, размышлению, промышлению, хитроумному расчислению – слава! Голове – слава! Да! Ура!!!

Ведь такой прорвы мышей небось у самого Федора Кузьмича, слава ему, отродясь не бывало, а уж он ли не мастак на них охотиться? Он ли не поэт, не гурман, не ценитель?

После полуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь!

И вроде всю ноченьку не спал, а от радости сон как рукой сняло. Разве что поджилки эдак немного ослабли, и томность в спине. А так – ни в одном глазу! Теперь с эдаким богатством – на торжище.

Хорошо с утра на торжище! Лепота! Снег расчищен лопатами, притоптан, ажно пол. Если большой мороз, дак он, снег-то, весь синий, посверкивает. Понятно, голубчики набегут – заплуют, загадят, окурков набросают, а все равно лепота. Ежели к теплу, ежели подтает маленько – словно как темные полыньи под ногами, а сугробы у забора осемши и почернемши, ноздреватые, с зубчатыми корками, весной пахнут.

Народищу – и-и-и-и-и-и-и-и!!! – тучи несметные. Всякому торговать охота. Всякий свою мену тащит.

Вон ряды с моченьями да соленьями: весь прилавок уставлен бочками, крынками, жбанями, ходи да пробуй, но много не хватай, не то по шеям накладывают. Ежели летось урожай хороший был, дак прилавок иной раз до горизонта растянется, последний дальний голубчик в ряду вроде как лесная букашка видится: далекий, махонький, руками машет, кричит, грибыши свои нахваливает, тоже себя человеком мнит, а посмотреть на него с этого конца – наступи ногой, да и нет его.

Другой вон хвощи моченые хвалит, криком кричит, надрывается, – али квашеный папорот, али пряники, али еще что.

Тута орешки моченые, там холсты разложены, нитки простые, нитки крашеные, лапти связками; там шкурки заячьи али шерсть с козляков: купи да и валенки валяй, али носки вяжи, ежели сподручный; там иголки костяные, ножики каменные, ведра каменные да деревянные, ухваты, оглобли, веники – чего хочешь.

А вон целый ряд огнецами торгует: тут торговцы важные, молчаливые, стоят на животе руки сложивши, с-под бровей поглядывают, морды красные. Загадочные. Молчат. А почему они молчат: привыкши. Огнецов надо молча брать, они и привыкши. Постоишь, посмотришь. Робеешь. А так этих огнецов покушать охота! Спросишь торговца:

– Почем за штуку?

Помолчит, губами пожует. Потом:

– Эти – пять. Эти – семь.

Дорого, бля!..

– А не ложные?..

Опять помолчит.

– Люди брали, живы.

Вот верить ему али не верить – прям и не знаешь. Потопчешься... Отсчитаешь пяток мышей. Возьмешь одного огнеца. За щеку положишь. Сладкий!.. А может, и не помрешь, с одного-то. Так, вырвет разве что. Ну, волос выпадет. Шею раздует. А так, может, еще и пожи-

вешь. Матушка отчего померла? – цельную миску зараз скушать изволила. Никита Иваныч все ей говаривал: «Полина Михайловна, что за несдержанность?! Не ешьте вы эти финики! Радиоактивные!» – да разве она послушает? Объелась.

Но сейчас Бенедикту про грустное даже начинать думать не хотелось. Весна с юга колобком катит, Новый Год ведет! Праздник и смех. Шутки и веселье. Вон и слепцы тоже сгрудились у тына – кто на ложках мелодию брякает, кто в свиристелку дудит, – поют:

И хорошее настроение
Не покинет больше вас! —

тоже, значит, весну почуяли. Ихний поводырь тоже взбодрился, орлом глядит, голубчиков строго озирает: а ну, кто песни слушает? – плати, мимо не пройдешь! А то любителей послушать да не заплатить предостаточно. Слепцы, они потому и слепцы, что ничегошеньки не видят. Поют себе разливаются, а голубчик другой раз послушает, удовольствие свое урвет, да и бежать не заплатимши. Как его слепцам поймать? – никак! Им же темно, слепцам! Им и в летний полдень темно. Кабы не поводырь, они бы померли с голоду, слепцы-то.

Бенедикт народные песни страсть любил. Особливо когда хором. Или когда задорные. Вот другой раз слепцы грянут:

Сердце красавицы!
Склонно к измене!
И к перемене!
Как ветер мая!!! —

так ноги на месте не устоят, сами в пляс пустятся. А и еще есть хорошие. «Вот идут Иван да Данила». «Миллион алых розг». «Из-за острова на стрежень». «А я люблю женатого». И много еще.

Нынче Бенедикт чувствовал себя умным и богатым. Потому и богатым, что умным. Эвон как он все придумал ладно – и все сошлось. Мышей он увязал в увязочки – о пяти штучках каждая; хвосты косичкой переплел, веревочку продел и той веревочкой препоясался. Сам идет, сам гордится. Здорово. И непривычно как-то.

Обычно идешь себе, семенишь, по сторонам сторожко поглядываешь: нет ли начальства какого? Ежели в санях едут – отскочишь на обочину, шапку долой, кланяешься. На рыло улыбочку умильную напустишь, масляную. Глазыньки тоже сощуришь, будто обрадовался. Выражение в глазыньках выразишь: словно бы удивляешься, как это тебе, простому голубчику, так повезло-то – мурзу встретить. Хоть и по сорок раз на дню, да хоть по пятьдесят на него, ирода, наткнешься, а все дивись, словно он, мурза, – не мурза, а бабушка с гостинцами.

Кланяешься, конечно, смотря по чину. Если малый мурза – голову приклонить, руку к желудку.

Если большой – в пояс: волосами в снег али в пыль, а рукой дугу отмахнуть.

Ежели красные сани – ...не приведи господь. Нет, нет, нет. Тьфу, тьфу, тьфу. Нет, нет.

Проедет мурза, напылит, напачкает, – можно опять шапку надевать, рукавом морду обтереть, и – на здоровычко, свободен. Рыло можно опять прежнее, простое, злобное, – плюнешь, обматеришь, вслед оскорбление какое – пожалуйста. А не то просто ворчишь: «Ишь расселся...», хотя чего ж? не стоять же ему в санях-то? – или длиннее: «Ездют тут!.. ездют и ездют, а чего ездют, и сами не знают!», а это тоже просто так, к слову: уж мурза-то наверно знает, куда ему ехать.

А так говорится для того, чтоб свою досаду подольше потешить. Когда ворчишь сквозь зубы, да бормочешь, да набычишься, да еще пасть на сторону свернешь – злость, она хорошо

так, тепло внутри пощипывает. Чего-нибудь крепкое сделать хочется. Ногой забор пнешь. Собачонку, если подвернулась. Ребятенку затрещину. Мало ли. Всяко себя выразить можно.

А иногда бывает, и злиться неохота. Вроде как грусть внутри. Будто жалеешь кого. Фелософия, должно быть.

А сегодня с утра новое чувство вступило: чувствовал себя Бенедикт умным и богатым, и охота было, чтоб все видели: вот он идет, Бенедикт, умный и богатый. И щедрый. Остановился, слепцов послушал. Они как раз старинное, бойкое грянули: «Два двенадцать восемьдесят пять ноль бэ! Два двенадцать восемьдесят пять ноль вэ! Два двенадцать восемьдесят пять ноль гэ!» – послушал и кинул им мышей связку. Ага, целую связку! Гуляем!

После нищим побирушкам связку – швырь! Чуть не передрались, вмиг подачку в клочья разнесли. Потеха! Потом по рядам пошел, вкуснятину покупать. О, сразу уважение... Заметили...

Кланяются:

– К нам пожалуйста!.. Чего душа просит?.. Рассольчику, барин, отведайте, рассольчик у нас самый лучший!..

Отведал рассольчику. Взял. Всего взял, чего душа просила: и простого, и моченого, и фаршированного. Хлебеды взял четверть пуда, козьего творожку, огнецов с полдюжины – ватрушку испечь. Вермишели квашеной. Репы. Гороху красного и синего. Квасу кувшин. Туесов накупил, всю провизию в них поклат. И еще холопа нанял всю эту тяжесть до дома доволочь, а по правде сказать, не столько оно тяжело было, сколько знатность свою охота было вволюшку выказать. Дескать, вознесся выше я главою непокорной александрийского столпа, ручек не замараю тяжести таскамши. Обслугу держу. Не вам чета.

И сейчас же неувязочка вышла: которые Бенедикта не знали, думали, что такой богач беспреречно в сани сядет, а какие ж у Бенедикта сани? Так что некоторые, гниды, в кулачок хихикали. А которые его знали, те порешили, что это не холоп, а приятель Бенедиктов, и дивились, что ж это приятель-то эдакие короба тащит, аж раскорячился, а Бенедикт руки в карманы засунул и идет себе насвистывает, а не подмогнет? Хотел всласть почваниться, а нет, не удалось.

А по дороге Бенедикт волновался, чтоб вперед холопа не забежать. А то только отвернись, а он, может, шасть в проулок, – с таким добром-то, вы что!!! Ищи его потом. Потому шел Бенедикт за холопом шаг в шаг, только покрикивал: «Не сюда, тудыть!.. Заворачивай! Заворачивай, говорю, песий сын! Налево! Все вижу, все вижу! Я тут! Слежу!» – и все такое.

Тревога большая была. Но дошли хорошо. Может, холоп, хоть он и холоп, тоже соображал, что далеко с такой тяжестью не убежишь: Бенедикт догонит и побьет. Бенедикт, когда его нанимал на торжище-то, в холопском закуте-то, и кулачищи свои ему показывал, и личиком суровился, и глазами выражал: гнев грядущий, подозрение всеохватное, неудовольствие на весь род людской. Пужал.

Но и думать не забывал, пока шли-то: ай, ведь до чего удача хорошая, когда ум к делу приложен: за одну ночь заработал себе цельный стол еды. А?! Теперь дальше так: ватрушек напечь, гостей назвать; хорошо бы Оленьку, ну а ежели не выйдет, можно и Варвару Лукинишну, можно и другого кого со службы. Варфоломеича можно, он байки мастер рассказывать. Ксеню-сироту. С ней, правда, скучно, и вида никакого. Соседей, что ли, пригласить. Да, позвать голубчиков дюжину, избу подмести, свечей натывать... Нет, нанять бабу пол мести... Чего самому-то горбатиться? Да, и ватрушки пусть тоже баба печет. А платить опять мышами. Да, и слепцов нанять!!! Во, точно! Всю артель и нанять. Сюрприз гостям!.. Попили-поели-поплясали, потом, может, в поскакалочку играть... Али в удушилочку. Но не до смерти, а так, наполовинку. Так, а объедки под пол, а мышей опять набегит видимо-невидимо – а опять наловить – а наловивши, опять еды купить – а еду опять туда же! под пол! – а с-под пола мышей! – а опять сменять! и еще! И еще!..

Батюшки!.. Это что же будет? А будет, что таким макарон Бенедикт до того разбогатеет, что, глядишь, и работать не надо! Да! А начнет мышей в рост давать! Слуг наймет: одних дом сторожить, да и дом-то надо светлый, высокий, двухъярусный, с прибабасами по кровле-то!.. А других слуг, чтоб сторожей сторожили, следили, чтоб те не взяли чего! А третьих, чтоб за этими смотрели!.. А четвертых... Но это ладно, это потом сообразим... А баб нанять, чтоб готовили... А еще слепцов, чтоб постоянно дудели да бренчали, Бенедикта увеселяли; помостим им в углу построить, да чтоб там и сидели, пели чтоб день-деньской... И баню хорошую построить... И в баню тоже музыку провести... других слепцов... Сам моешься, сам слушаешь... И девку-чесалку нанять, чтоб спину чесала... А другую – чтоб волосы расчесывала и песни мурлыкала... Ну, чего бы еще? Да! Сани!.. И подъезд к дому широкий, и ворота на замке... Эй, холопы, отворяй, барин едет!.. Вот все падают ниц. Бенедиктовы сани во двор въезжают и прямо к терему... А из терема навстречу Оленька, белая лебедушка: здравствуй, свет мой, Беня, а попрошу к столу, уж так заждалася... все-то глазыньки проглядела...

...Дошли. Фу-х... Вот видение-то какое вышло... избенка-то наша, прямо сказать, не терем. Холоп туеса поставил в снег. Усмехается. Бенедикт отстегнул плату: мышей связку. Посмотрел: у холопа на рыле неуважение, точно, играет. И сразу разговор пошел такой неприятный...

Холоп говорит:

– У кого служишь?

Бенедикт ощерился:

– Служу?! Я-те дам: служу! Я государев работник. А не «служу»!

А холоп:

– А провиант кому?

А Бенедикт:

– Мне провиант! Свое хозяйство! Щас есть буду!

А холоп:

– Ща. Свое.

Плату взял, высморкался на снег, прямо под валенки Бенедикту, да и пошел себе.

От ведь холопское отродье!!! Холоп он и есть холоп!!! А догнать его, да плату отнять, да в рыло ему въехать как следует, да ногами-то потоптать за обиду, за своеволие!.. Скотина!!! Бенедикт дернулся было, да побоялся оставить туеса без присмотра: уже голубчики стали стекаться, на еду смотреть. Тьфу! Плюнул, вволок туеса в избушку.

Гадина холопская, сучий потрох! Намекнул, гнида, что и Бенедикт, мол, – не Бенедикт, а холоп чей да нибудь, как и он сам, что и еду-то он, мол, не себе купил, а хозяину, что и изба-то не изба, а сараюшка, клеть, может, какая перевалочная... И мечты-то его все пустые: сани захотел... Нет, нельзя оставить! Догнать по-быстрому да поджопник ему!!! Бенедикт бросился на улицу, туда-сюда... Нет, пропал холоп, как и не было... А может, примерещилось?

Вернулся в стылый, холодный сумрак избы. Как время-то пробежало. Пока туда-сюда – уж солнце садится. Пощупал печь: холодная. Не должно бы, а? Открыл заслонку – ясно... Воры были. Сперли угольки с огоньками. Одна холодная зола. Ну что ж...

Вдруг скучно стало. Расхотелось как-то всего. Сел на тубарет. Встал. Распахнул дверь, постоял, прислонясь к притолоке. В груди что-то кислое такое взошло, как слабость. Да! Вечер уже. Середь дня – вечер; это и есть зима. Бледное закатное небо, на небе ветки деревьев словно углем прочерчены. Гнезда колтунами. Заяц порхнул. Понизу – грустная синева снежных увалов, пригорков, сугробов. Чахлый черный тын, как старый гребень. Еще виден, а погасни закат – и ничего не увидишь в крошечной тьме. Сразу выступят звезды, нальется небосвод их молочным, слабым свечением – как будто издевается кто, али равнодушен, али не нам эти небесные огни предназначены: что разглядишь при их тусклости, неживом мерцании! А наверно так, а не для нас они!..

...А и все так! Будто кто для нас, для людей, изо всей безмерной природы малый кусок выкроил: вот вам, голубчики, солнца чуток, да лета кусок, цветок тюльпан, травки зеленой малость, малых птишек на сдачу, да и будя. А всех остальных тварей припрячу, ночью оболочку, тьмою укрою, в лес да под пол, как в рукава, заховаю, малый свет им зажгу, звездный, – им и хватит, им и хорошо. Пушай шуршат, юркают, пищат, размножаются, своей жизнью живут. А вы их, ну-тко, ловите-ка, если сумеете. Поймали? – кушайте на здоровье. А не поймали – как знаете.

Бенедикт вздохнул тяжело, да сам свой вздох и услышал. Вот, опять... Опять в голове раздвоение какое-то. То все было просто, ясно, счастливо, мечты всякие хорошие, а то вдруг будто кто сзади подошел да все это счастье из головы и выковырнул... Как когтем вынул...

Кысь это, вот что! Кысь в спину смотрит!!!

Бенедикта даже затосило от страха, от нехорошего, под ложечкой сосущего чувства. Он захлопнул дверь, не досмотрев заката, не додышав сырого, синего вечернего воздуха; поспешно заложил на крюк, на засовы; споткнулся в тухлой избяной тьме о творог; и матюкнуться забыл; ошупью добрался до лежанки и лег поскорей, не чуя ног.

Сердце билось. Кысь это... Она. Вот, значит, что. А не философия никакая. Правильно говорят: кысь в спину смотрит!

Это она там, на ветвях, в северных лесах, в непролазной чащобе, – плачет, поворачивается, принюхивается, перебирает лапами, прижимает уши, выбирает... выбрала!.. Мягко, как страшный, невидимый Котя, соскочила с ветвей, пошла, пошла, пошла, – ползком под буреломом, под завалами сучьев, колючек, длинным скачком через седой, мохом обросший, метелями поваленный сухостой!.. Ползком и скачком, гибко и длинно; поворачивается плоская головка, поводит из стороны в сторону: не упустить, не потерять бы следа: далеко в худой избе, на лежанке, налитый теплой кровью, как квасом, лежит и дрожит, в потолок уставился Бенедикт.

Ближе, все ближе к жилью!.. Где поземка стелется, пылит по оврагам, где метель столбом, где снежный смерч с полей поднялся, там и она: летит в поземке, вьется в метели! Ни следа не оставит лапами на снегу, не спугнет ни одного подворотного пса, не потревожит домашней твари!..

Ближе и ближе – и кривится невидимое лицо ее, и дрожат когти, – голодно ей, голодно! Мука ей, мука! Кы-ы-ысь! Кы-ы-ысь!

Вот она подкрадывается к жилью, вот глазыньки-то закрыла, чтоб лучше слышать, вот сейчас прыгнет на ветхую крышу-то, на остывшую трубу-то; вот напрягла ноги...

...В дверь стукнули: тук-тук-тук. Бенедикт вскочил, как ударенный палкой, страшным криком крикнул:

– Нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Ах, вы заняты, голубчик? Так я попозже зайду, – из-за двери голос такой знакомый: Никита Иваныч. Господь послал!.. Господь послал!..

Как

Неделю провалялся Бенедикт в лихорадке – позорище и стыдобушка. Как все равно дитё малое. Старик ему и огонь разжег, и ватрушек напек, и кипяточку пить подавал. Сами вдвоем все и съели.

Вот те и праздник Новый Год. Прошел, минул, как и не было, – такая жалость, все упустили! А голубчики, видать, веселились вовсю, плясали, да хороводы водили, да свечки по Указу жгли, да ржавь пили: после праздника, как водится, увечных да калечных в городке прибавилось. Идешь по улочке, сразу скажешь: праздник был да веселье: тот на костыликах клякает, у того глаз выбит али мордovorот на сторону съехавши.

Бенедикт, оклемавшись, сокрушался: жизнь стороной прошла, по губам мазнула, – как всегда, как всегда! Вот обида-то! Вот черная досада! Он ли не готовился, он ли разум в дело не пускал? мышей не ловил, на снeдь не менял? Ведь две недели, почитай, жил в ожидании светлого, радостного: гости, свечи, музыка!

Ведь жизнь-то, она какая? – труды, да холода, да посвист ветра! Так? В кои-то веки праздник выпадает.

А он, видать, простыл да надорвался, али другое что, – али с голодухи, али несвежего чего в Столовой Избе поел, – кто знает? – да и свалился в жару, в лихорадке, и где вы нынче, дни золотые?

А Никита Иваныч говорит, что Бенедикт не ВРАСТЕНИК. Ну что же – нет так нет, это уж как кому повезло. А только обидно до слез!

А еще он говорит, что, дескать, слава богу, целее будешь, руки-ноги сохранил, еще пригодятся тебе, юноша неразумный, пустоголовый, мечтательный и заблудший, как и вся ваша порода, все ваше поколение, да, в сущности, и весь род людской! А не любит он наши праздники, не любит!

Что ж с того, что иной раз повреждение кому и выйдет? Другой раз и на льду поскользнешься. И в яму упадешь, и на сук напорешься, и съешь чего непроверенного. А что ж, нешто от старости не мрут? Даже Прежние голубчики – по триста лет живут, а все равно мрут. Новые голубчики рождаются.

Себя-то, конечно, жалко до слез, чего говорить. Родню, приятелей – тоже жалко, но поменьше. А чужих – как-то не жалко. Они же чужие. Как можно равнять? Когда матушка померла, Бенедикт так плакал, так убивался, весь вспух. А помри – ну хоть Анфиса Терентьевна, разве ж он плакал бы? Ни боже мой! Подивился бы, расспросил бы, вытянувши шею, возведя брови на лоб: от чего помре? Объемшись чего али так? И где хоронить думают? И женится ли теперь Поликарп Матвеич на ком другом, и много ли от Анфисы Терентьевны добра ошамшись, и какое то добро? – все расспросит, интересно же.

Да и на поминки позовут – развлечение. Еду есть будут. В избу пригласят: входишь, смотришь, какая у них изба-то, в каком углу печь, да где окно, да есть ли украшение какое – может, лавка резная у какого затейника, может, полог цветными нитками расшит, а то полку прибьют и на ней книжицы держат. Наешься-напьешься, по избе бродишь, глазами зыркаешь, к полке подойдешь, книжицы рассматриваешь. Другой раз интересная попадется – к стене боком прислонишься, ногу за ногу закрутишь, в затылке скребешь, стоишь читаешь. Да мало ли!..

Но самому помирать неохота, кто спорит. Упаси бог! А только еще страшней, если кысь. Сейчас-то вроде она отступила, видать, потеряла Бенедикта, – может, это Никита Иваныч ей след перебил, она и отступись.

А почему она страшней смерти: потому что уж ежели ты помер, так все – помер. Нету. А ежели эта тварь тебя спортит – так с этим еще жить! А как это? Как они себя мыслят, каково им, испорченным? Вот что им там внутри чувствуется? А?..

...А должно быть, чувствуется им тоска страшная, лютая, небывалая! Мрак черным-черный, слезы ядовитые, жидкие, бегучие! Вот как иной раз во сне бывает: будто бредешь себе волоча ноги, да все влево да влево забираешь, – и не хочешь, а идешь, словно ищешь чего, да чем дальше заходишь, тем больше пропадаешь! А назад ходу нету! А идешь будто по долинам пустым, нехорошим, а из-под снега трава сухая, да все шуршит! Все-то она шуршит! А слезы все бегут да бегут, с лица да на колени, с колен да на землю, так что и головы не поднять! А и поднял бы – все зазря: смотреть там не на что! Нет там ничего!..

А случись такое страшное дело с человеком, что кысь его выпьет, жилочку когтем перервет, – лучше ему помереть скорей, лучше уж пускай в нем пузырь лопнет, да и все тут. А только кто же знает, может, ему эти два, а то три дня до смерти целой жизнью представляются? У себя-то, в голове-то, внутри, он, может, и в поля какие ходит, и женился, и детей малых народил, и внуков дождался, и повинность государственную какую несет, дороги чинит али ясак платит? Внутри-то? А только все со слезами, с криком душевным, с воем непереносимым, не людским, беспрестанным: кы-ы-ы-ы-ысь! кы-ы-ы-ы-ысь!..

То-то. А не то что: «зачем увечье», увечье – дело житейское, выбьют глаз – дак и одним глазом можно солнышку радоваться, выбьют зубы – дак и щербатый счастьем своему улыбается, доволен.

Но у Бенедикта и глаза в порядке, и зубы, и руки-ноги. Так что ж. Оно и хорошо.

А вот другое дело, что одному жить вроде как скучно, компания нужна. Семья. Баба.

Баба обязательно голубчику нужна – как без бабы? По этому бабскому делу Бенедикт ходил ко вдове, к Марфушке: раз ли, два ли раза в неделю, но непременно к Марфушке завернет. С лица она нельзя сказать, чтобы уж очень была хорошенькая. У ней, по правде сказать, весь мордovorot как бы на сторону съехавши, будто ей кто оглоблей в личико вдарил. И один глаз заплывши. Фигурка тоже не сказать, чтоб очень. На репу похожа. Но Последствий нетути: где надо, все у ней выпуклое, где не надо – впуклое. Да и не смотреть же на нее он ходил, а по бабскому делу. Кому смотреть охота – дак выйди на улицу и смотри, пока глаза не вывалятся. А тут другое. Это, как Федор Кузьмич, слава ему, сочинил:

Не потому, что от нее светло,
А потому, что с ней не надо света.

Никакого света с ней не надо, а даже наоборот: Бенедикт как к ней придет, сразу свечку задует и давай валяться, да крутиться, да кувыряться, всяким манером любовничать. И вприсядку, и в раскорячку, и туды, и сюды, и по избе скакать – боже ты мой, чего иной раз вытворять в мысли-то вступит! Вот когда один сидишь, думу думаешь, ложкой во щах шевелишь – никогда по избе скакать не станешь али на голову становиться. Как-то оно глупо. А когда к бабе придешь – обязательно. Сразу портки долой, – шутки и смех. Природа у бабы, али сказать, тулово для шуток самое сподручное.

Вот, нашутимшись, умаешься. Опосля так жрать охота, будто три года не жрамши. Ну, давай, чего ты там наготовила? А она: ах, куды, Бенедикт, куды ты от меня стремишься? Желаю, мол, еще фордыбачить. Неумная женщина. Огневая.

– Нет, баба, нафордыбачились, давай еду, вермишель давай, квашеного чего-нибудь, квасу, ржави, все давай. Поем да и побегу, а не то у меня печь погаснет.

– Да какая печь, дам я тебе угольков-то! – И то правда, и накормит, и с собой пирог завернет, и угольков в огневой горшок наладет.

А другой раз Бенедикт ей стихи читает, ежели чего Федор Кузьмич, слава ему, про бабское дело сочинить изволил. Он, видать, тоже ходок будь здоров!

Горит пламя, не чадит,

Надолго ль хватит?
Она меня не щадит —
Тратит меня, тратит.

Во как! А то еще:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Хочу одежды с тебя сорвать!

Хочешь – дак и сорви, кто мешает? Бенедикт раньше удивлялся: кто ж ему, Набольшему Мурзе, долгих лет ему жизни, слово поперек скажет? Срывай. Хозяин – барин. Но теперь, конечно, когда он Федора Кузьмича, слава ему, воочию лицезреть сподобился, – теперь призадумаешься: видать, ему, с его росточком, до бабы и не допрыгнуть, вот он и жалобится. Дескать, сам не управлюсь, подсобляй!

Но с этими стихами раз конфуз вышел. Перебеливал раз Бенедикт стихи, уж такие раз-эдакие, такие, сказать, томные!

Нет, я не дорожу мятежным наслаждением! —

во как Федор Кузьмич, слава ему, выразил. Бенедикт даже изумился: а с чего это он не дорожит-то? Приболел? А там к концу Федор Кузьмич, слава ему, прояснил, что он вроде как новым, диковинным манером бабское дело решил испробовать:

Лежишь, безмолвствуя, не внемля ничему...
И разгораешься все боле, боле, боле,
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.

Бенедикту так захотелось проверить, чего это Набольший Мурза, долгих лет ему жизни, чудит-то, – что сделал своеволие: лишний свиточек для себя переписал да в рукав-то и схоронил, а опосля бегом бросился к Марфушке и те стихи ей прочел. И предложение ей предложил: давай, дескать, и мы так: ты брык – и лежи как бревно, не внемля ничему, но, смотри! – по-честному, как договорились. А я на тебя яриться буду, и поглядим, чего это такое за барские придумки. Лады? Лады.

Так и порешили. А вышел конфуз. Марфушка все сделала по-честному, как ей велено, – ни гу-гу, руки по швам, пятки вместе, носки врозь. Ни хватать Бенедикта, ни щекотить, никаких кренделей выкаблучивать не стала. И нет чтобы разгораться все боле да боле, как по-писанному, али там пламень разделить, – какое – так мешок мешком весь вечер и пролежала. Да и пламеня, по правде, не вышло – Бенедикт потыркался-потыркался, да чего-то завял, да скис, да плюнул, да рукой махнул, шапку нашарил, дверью хлопнул да и домой пошел, да и весь сказ. А Марфушка осерчала, догнала да вслед ему – матюгов. А он – ей. А она – ему. Повздорили, волосья друг другу повыдирали, потом, недели через две, опять помирились, но все уж было не то. Не было уж той, сказать, искрометности.

Ну, по этому же делу он и к Капитолинке ходил, и к Верке Кривой, и Глашка-Кудлашка его зазывала, и много еще кто. Теперь вот Варвара Лукинишна напрашивается, можно бы сходить, да больно страшна. А ну как она по всему тулову петушиной бахромой утыкана?

Но все эти бабские дела – сходил да и забыл. Да и из головы вон. А другое дело, когда видение привяжется, образ чудный, марево светлое, – вот как Оленька стала Бенедикту мерещиться... Лежишь на лежанке, ржавь покуливаешь, а она – вот она, рядом, усмехается... Руку протянешь – нет ее! Воздух! Нету ее – а и опять она тут. Что такое!

...Может, взять да и посвататься к ней? А? Посвататься? Так, мол, и так, Оленька-душенька, ненаглядная раскрасавица, желаю на тебе жениться! Честным пирком да за свадьбу! Будь моей хозяйшкой! Будем жить-поживать да добра наживать!.. Что еще в таких делах говорится?.. Совет да любовь! Пир на весь мир! Чем богаты, тем и рады!

А что! Хоть семья у ней и знатная – в санях ездит, хоть шубка у ней заячья, а женихов вокруг нее не видать. Строгая, должно быть. Скромная. А на Бенедикта-то посматривает. Посмотрит – и зарумянится.

А когда Бенедикт, оправившись от лихорадки, на работу вернулся – так Оленька и просияла. Вся засветилась, как свечка; прямо бери ее, в расщепу вставляй и в любой тьме видать будет во все стороны.

Обдумать надо это дело.

Люди

Вот миновали февральские метели, грянули мартовские бури. Пролились небесные потоки, прошибли снег, будто кто его каменными гвоздями истыкал да исчернил. Где и земля показалась. Весь мусор прошлогодний всплыл – по всем улочкам, по всем подворьям. Побежали быстрые ручьи, пенистые да мутные, понесли мусор с пригорков в низины, вынесли вон из слободы, а наверху, глянь, уж лазурь проступила. Светлая такая, чистая, холодная, облачка по ней бегут быстрые, ветер веет, голые ветви мотает, весну торопит. Сыро так и светло; ежели руки в рукавицы не упрячешь – красные такие делаются; а хорошо, весело!

Земля под ногами чавкает, глина непролазная, ни тебе в санях, ни тебе в телеге, а мурзы все равно ездить желают, пешочком нипочем не пройдутся – не по чину. Вот смотришь, перерожденцы валенками глину месят, сани тащучи; из сил выбиваются, матюгаются, а сани ни с места. Мурза их кнутом! да еще! а они его по-матерному! – такой, право, гвалт стоит, одно слово: весна!

Потом, глядишь, опять подморозит, денек выпадет пронзительный, холодный; и снежок мелкой крупной просыплется, и пузыри в окошках изморозью подернутся.

А пока Бенедикт в лихорадке лежал, Федор Кузьмич, слава ему, новый Указ сочинить изволил.

УКАЗ

Вот как я есть Федор Кузьмич Каблуков, слава мне, Набольший Мурза, долгих лет мне жизни, Секлетарь и Академик и Герой и Мореплаватель и Плотник, и как я есть в непрестанной об людях заботе, приказываю.

Вот еще какое дело вспомнил совсем забыл с государственными делами заматавишсь:

Восьмого Марта тоже Праздник Международный Женский День.

Энтот праздник не выходной.

Значит на работу выходить, но работать спустя рукава.

Женский День значит навроде Бабского Праздника.

В энтот день всем бабам почет и уважение как есть они Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пигалица малая всех уважать.

В энтот Праздник их не бить не колошматить ничего такого обычного чтоб не делать, а пуцай она Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пигалица малая с утра пораньше встанет пирогов напечет оладушков того-сего навалает все чисто вымоет полы подметет лавки надраит воды с колодца наносит белье там исподнее али верхнее намочит-настирает у кого коврики али половички пуцай все хорошо выколочит а то я вас знаю пылещиши в избе хоть нос зажимай. Дров пуцай нарубит баньку растопит помоемся как следоват. Стол накроет побогаче блины горкой закусь всякая может с Нового Года чего недоедено все на стол тащи.

С работы придя проздравитъ Жену и Мать и Бабушку и Племянницу или другую какую Пигалицу малую с Международным Женским Днем.

Сказать: «Желаю вам Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пигалица малая счастья в жизни успехов в работе мирного неба над головой».

Всякую бабу, хоть Соседка хоть кто такими же словами вежливо проздравлять.

Опосля пей-гуляй, ешь что хочешь веселись, но в меру.
Каблуков

Вот точно, Бенедикт так и знал, большой он по бабскому делу ходок, Федор Кузьмич, слава ему. На работе бабы сидят предовольные: никто им слова худого не скажет, не пнет, ни тебе заушин, ни затрещин, всякий проздравляет. Варвара Лукинишна на шейку-то бусы надела. Оленька вся в лентах. Даже Ксения-сирота какой-то кружавчик из суровых ниток навертела и на темечко пришила. Такие все раскрасавицы – хоть сейчас портки долой да шутки с ними шути.

А еще что придумали: вербных веток нарвали да в горшок с водой вторнули; в избе тепло, листики-то и распустились. Может, оно и своеволие, а только ихний день, и все тут. И Шакал Демьянычу на стол тоже горшок с ветками поставили было, да только он его сбросил на пол: ничего в Указе про вербу не указано.

Шакал Демьяныч Указы все наизусть знает и любит. Даже старые, с незапамятных времен: вот, скажем, чтоб выходной был в воскресенье. Все и так знают, что воскресенье – это воскресенье, ни один голубчик нипочем работать не будет, хоть его режь. Казалось бы: чего ж тут указывать, бересту тратить? Не-ет, это вот подход негосударственный.

А государственный подход – это чтоб строго-настрого указать, чтоб выходной ни боже мой не в субботу случался, ни боже мой не в пятницу, ни боже мой не в четверг, ни боже мой не в среду, ни боже мой не во вторник, ни боже мой не в понедельник. Так укажут – и так и будет, потому как на то и государство, его же сила и слава и власть земная, во веки веков, аминь.

Шакал Демьяныча никто особенно не любит. Да и кто мурзу любить может? Разве что баба его, ну, детушки малые, а так никто. А не для того он и предназначен, мурза, чтоб его любить. А он для того предназначен, чтоб порядок был. Списки работников наблюдать. Чернила выдавать. Бересту. Вычеты за прогулы, за пьянство али пороть кого – вот для чего. А без мурзы нельзя, без мурзы мы все перепутаем.

Ну вот, к примеру. По-простому ежели рассуждать. Майский Выходной – он случается в мае, а стало быть, Октябрьский Выходной – в октябре? Ан и нет! Октябрьский Выходной – в ноябре! Не будь мурзы, слышь, все бы голубчики, весь Федор-Кузьмичск так бы пьяные и провалились весь октябрь-то месяц!

А многие дивятся: отчего бы это Октябрьский Выходной – да в ноябре? А опять-таки подход у них негосударственный! А потому он в ноябре, что в октябре погода обычно хорошая, ни снега, ничего. Воздух такой крепкий, палым листом пахнет, солнышко долго светит, небо, чать, голубое. Голубчики, кто ходячий, сами, без Указа, на улицу выходят – кто за ржавью отправился, кто хворосту из лесу принести, кто последнюю репу выкапывать. Красота! Ясность в природе.

А в ноябре как зарядят дожди, как зарядят, как зарядят, – и-и-и-и-и! – мутно так между небом и землей, и на душе мутно! Крыша течет, если худая; холодом, сыростью в пазы дует. Заткнешь окно тряпицей, к печи поближе притулишься, а не то на лежанке дремлешь, и плачется что-то, все плачется! Прошло лето красное, не воротись – словно бы сама жизнь прошла, развеялась радость пылью дорожной! Отворишь от окна тряпицу, глянуть, – а на улице никогошеньки, ничегошеньки, только дождь крутит да в лужи бьет. Да тучи рваные. Голубчики, даже из самых глупых, в такую погоду нипочем из дому по своей воле носа не высунут.

Вот в такой день, когда все тут, все по домам, никуда не разбрелись, никого ни в лесу, ни в поле не позабыли, – в такой день и назначают Октябрьский Выходной. Всем голубчикам, и здоровым, и увечным, велено из дома выходить на главную площадь, где дозорная башня, и по шестеро в ряд, с песнями, пройтись. А с дозорной башни мурзы будут на голубчиков глядеть и всех их по головам пересчитывать. Потому что надо ж знать, сколько у нас народу, и сколько бляшек нарезать для уплаты, и сколько добра в Складской День выдавать, и скольких

можно на дорожные работы привлечь, если не увечные, и все такое. И народная мудрость тоже говорит: цыплят по осени считают. А когда всех пересчитают, то, конечно, можно по домам, пей-гуляй, веселись, что хочешь делай, но в меру. Это вот и есть подход государственный.

А в какой точно день Октябрьский Выходной назначить – это уж начальство думает, на то оно и начальство. Они в терему сидят, на небо смотрят, за погодой наблюдают, про себя рассуждают: вчера, думают, было вроде рано, а завтра – кто его знает, может, и поздно, а сегодня, думают, в аккурат тот самый день. Гнать всех на пересчет.

Эти все дела Шакал и знает, такая ему должность.

Ознакомил Бенедикта с Указом:

– Извольте поздравлять.

Бенедикт выучил поздравление: прочел, еще прочел; в потолок глядя, повторил; потом по бересте проверил, потом глаза зажмурил и еще раз прошептал, чтоб уж накрепко. Варваре Лукинишне все вежливо сказал:

– Желаю вам Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пигалица малая счастья в жизни успехов в работе мирного неба над головой.

Васюк Ушастый локти растопырил и из своего угла тревожно слушал: все ли правильно Бенедикт говорит, все ли по Указу.

Варвара Лукинишна вся красная стала: приятно ей такие слова слышать.

– Ах, милый, спасибо. А вот приходите ко мне сегодня вечером: у меня суп сварен.

– Сегодня-то? Не знаю...

– Орешки остались... Мышь запеку.

– Уж я и не знаю...

– Мышь – свежайшая.

Бенедикт колебался.

– Приходите... Я вам кое-что покажу... По секрету.

Вот такая баба настырная. Она и в сарафане страшна, а если одежду скинет да секрет показывать будет, так оно небось и вовсе: шапку хватить да и в двери? Но, конечно, оно заманчиво... Мало ли...

– Право, заходите... Об искусстве поговорим... Я знаю, вы способны тонко чувствовать... У вас, мне кажется, огромный потенциал.

Потупила свой глазик единственный. О, какая... Бенедикт даже вспотел. Какие разговоры волнующие... Прямо на работе...

– Да уж не маленький... Жалоб не поступало... Все чувствую тонко... А вы откуда знаете?... Какой у меня пуденциал?

– Ну... этого же не скроешь...

– Сболтнул кто?

– Да, мы часто о вас говорим... В своем кругу, знаете... высказываем мнения... Все согласны: у вас прекрасное развитие...

– О?!..

– Да... От вас можно многого ожидать.

– Хм... Что за круг-то у вас?

– Свои люди... близкие. Вы с некоторыми знакомы.

Так он и думал. Бабы!.. Сядут в кружок да давай разговоры разговаривать про свои бабские дела. Кто, да с кем, да когда. И Бенедикта обсуждали! Хвалили!..

– ...открываем друг другу свои маленькие секреты, – шептала Варвара Лукинишна. – Делимся.

?!?! Эка! Вон как у них заведено! Понятно... что ж... люди одинокие...

– Много вас там? В кругу-то?

– О, небольшая группа, человек шесть... Нечасто удается собраться, но общение очень интенсивное, тесное...

– Вшестером-то, конечно, тесно... это вы на полу али как?

– Зачем, кто где...

– Как же вы тогда...

– Как размещаемся? Ну, конечно, избушка у меня миниатюрная, слов нет, это правда. Когда все соберутся, поверите ли, иногда буквально на головах друг у друга сидим!

– Ага... Я приду, – быстро сказал Бенедикт. – Приду, ждите.

Так!.. Срочно надо баньку растопить, помыться, потом ржави жбан прихватить – не с пустыми же руками в дом, – потом... потом видно будет. Ой, что будет!.. Сейчас всех проздравить – и домой; Шакал ничего не скажет – указано: работать спустя рукава. Бенедикт откланялся Ксене-сироте:

– Желаю вам Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пигалица малая счастья в жизни успехов в работе мирного неба над головой.

Обрадовалась.

– Уж сколько раз сегодня слышу, а все приятно! Вот бы каждый день так!

Шакал на нее из своего угла покосился: своеволие выражает. А сказать-то и нечего: сегодня велено только проздравлять, а не обижать, ничего. Завтра ей врежет, надо думать.

– Приходите вечером на мои оладьи.

– Занят.

– Ах, как жалко. Оладьи у меня такие пышные!

– Не сомневаюсь.

И эта туда же: намекает. Оладьи у нее, вишь, пышные!.. А что если и туда и сюда?.. В два конца обернуться?.. А Оленька со своего тубарета посматривает... Надо Оленьку проздравить. С другими-то разговор легко шел, а с Оленькой как-то боязно стало: оробел, коленки ослабели. Подсел к Оленьке, пробормотал:

– Желаю вам Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пигалица малая счастья в жизни успехов в работе мирного неба над головой.

А Оленька тихо так засмеялась:

– Какая же я вам жена?..

– Так в Указе...

– А без Указу?..

Бенедикт опять вспотел: вот он, Женский День, Бабский Праздник, вот к чему все это клонится-то... Ай да Федор Кузьмич, слава ему... Вот она его сейчас на блины позовет...

– ...без Указу, значит, нет счастья в жизни?

– Оленька... Оленька, хочу счастья в жизни без Указу...

– Ну дак?..

– Предлагаю вам руку, сердце и пуденциал, – прошептал Бенедикт. Сам от себя таких слов прекрасных, страшных не ждал: вырвалось.

– Беру, – прошептала и Оленька.

– Берете?!..

– Беру... Я все беру...

Помолчали... Что еще надо говорить... Сердце-то так и прыгало... Ой, решился!.. Решился! Ну и день сегодня!

Федору Кузьмичу – слава!

Прощай, значит, жизнь холостая! Недолго и погуляли, Бенедикт Карпыч! Ну и хорошо! Надо остепеняться. Бенедикт домой бежал бегом: еще рано, угли в печи не остыли, набрать да и баньку растопить... Эвона: с прошлого года не мылся! По новому, конечно, стилю. Раньше Первого Января новый год считали, по старинке, а теперь перенесли, вот и получается... Бежал,

бабам встречным кланялся – непривычно, а надо. Проздравление выкрикивал. Всем желал счастья в жизни. Мимо Никита Иваныч семенил, бревно тащил – и ему, в шутку, крикнул: «Мирного неба над головой, Никита Иваныч! Чтоб ни дождичка, ничего!» – старик даже пере-дернулся, обернулся, плюнул оземь. А-а, думает: Бенедикт его за бабу принял!.. А это просто шутка!

Оленька в другой слободе живет... не в нашей... Мы вон где, а она – эвон где. Догово-рено на Майский Выходной к ней в гости: с родителями знакомиться. Дай-то бог, погоды будут хорошие, светлые... Мирного неба над головой!.. Не то что сегодня: грязь и дождичек моро-сит...

Пробежал мимо завязших саней: безнадега в такую погоду ездить. На обочине перерож-денцы мохнатые: тройка. Отдыхают, валенки скинули, ржавь покуривают, вслед голубчикам зубоскальничают. Увидели Бенедикта, заржали:

- Убежим от инфаркта!..
- Не догоню, так согреюсь!
- Давай быстрее, гараж закроют!

Твари бессовестные. Пристают к людям. А отлаиваться – себе дороже: ругань у них покрепше нашей. Никто с ними не связывается, с перерожденцами.

С горки на горку, по переулочкам, где и огородами, где под плетень пролезть, путь сокра-тить, – добежал до дому, засовы посбрасывал, скорей в избу, печную заслонку рванул: тлеет! Тлеет, голубчик! Успел! Сейчас ржавки туда, полешек, щепочек; вздуть огонь, пушай играет; а как заиграет, так и в баньку его перетащить. Да воды наносить, да веник прошлогодний вроде в сарае валялся, да мочалка совсем новая где-то тут... была тут где-то... Вот был бы сейчас женат, прибежал бы с работы – а все уж приготовлено, пауки выметены, веник распарен. Да, но только женатому по бабам-то не очень сподручно... «Ты куда это, Бенедикт, на ночь глядя?» – «Да тут... надо мне... Об искусстве поговорить...» – «Знаем мы!.. Ишь!.. Искусник нашелся!..» И веником его, веником... Нешто он с Оленькой драться будет? Не-ет, все у них будет по-хорошему, а иначе зачем.

Да, придешь – все приготовлено, а только той свободы уж не будет. Ну и пусть. Зато жена красавица! А свобода – что ж... Вот он сейчас свободен, а мочалки не видать – неужели украли? Ан нет, опять повезло: нашлась мочалка в баньке под камнем; заплесневела малость, зато нашлась. Что за день сегодня: все ладится.

Вот попарился всласть. Всего себя мочалкой растер, веничком докрасна исхлестал, осмотрел себя со всех сторон, куда глаза хватало: красавец! Случись сейчас сосед какой, загляни он в окошечко – позавидовал бы. Бенедикт даже сам себе позавидовал. Немудрено, что бабы его хвалят: «прекрасное развитие, много от вас ожидаем!» Ожидайте, сейчас оботрусь – и к вам. А что ж, все шестеро соберутся али как?.. Ничего, бог даст, управлюсь! На головах сидят... эка!

Угли сгреб в кучку: так, может, дольше продержатся. Но до утра – вряд ли. Хотя ведь у Варварки угольков набрать можно. Но только зачем? – утром все равно на работу. Эх, суета, пустые хлопоты! Бенедикт опять разбросал угли: не дай бог, пожар. С этим огнем ведь как: погаснет он – ложись и помирай; разгорится не в меру – все пожрет, уничтожит, как и не было ничего! Он такой, огонь-то! Он норовистый. Он пищи требует, он, как все равно человек, всегда голодный. Все дай да дай! А перекормишь его – он тебя же и съест.

А как у кого пожар случится, голубчики сбегаются отовсюду, со всех слобод; и с самых дальних концов другой раз бегут. Соберется толпа агромаднейшая, как все равно на Октябрь-ский Выходной. Обступят дом, что горит, стоят, на грудях руки сложивши, смотрят... Мол-чат али перешептываются: «ишь, как пламя столбом-то...», «смотри, вон, вон, с угла занима-ется!..» А пламя, и правда, рвется, мечется, не то что столбом, а, сказать, деревом каким, вот как Окаян-дерево по весне: пляшет и гудит, крутит и клубится, а с места не сойдет. Обер-

нешься на голубчиков: стоят, глаза раскрывши, и в глазах тоже огонь пляшет, отражается, как в воде какой, переплескивается. Вот у толпы глаз-то тыща, да в каждом вода с огнем плещет, словно заря на реке; дико так на душе станет, право! никогда вода с огнем не сходится, а тут вона, сошлись!

А если Прежние рядом случатся – они бегают, за голову хватаются, кричат: «Тушите! Тушите пожар!» – а как? Как его потушишь-то? Это малое пламя ведерком зальешь, а если огонь свою силу показал – все. Жди до конца.

Ежели другие избы не займутся – хорошо. Вот как огонь все поест, ложиться начнет, засыпать, – голубчики двинутся с ведрами, да с горшками, кто с чем, угольки набирать, себе в дом тащить. Может, у них и без того печь теплая – неважно. Не пропадать же добру.

А иной раз вся слобода выгорит. Что ж! – начинай жить сначала.

Мытый, сам себе приятный, постучался к Варваре. Открыла нарядная, вся вспотевши.

– Ах! Это вы. Как мило. Что это? Ржавь? Ну зачем вы трудились...

Посмотрел по сторонам: баловниц еще не было. Подождем. Стол накрыт. Миски – две, да ложки – две. Супу горшок.

– Вы присаживайтесь. Я сейчас.

Вытащила из печи противень с мышами.

– Вроде пропеклись...

– А вы лучинкой их потыкайте.

– Верно... В самый раз. Свежие, сегодня ловила.

– Чудно.

Налили ржави. Закусили.

– Ваше здоровье.

Еще налили. Хорошо пошла.

– Какая чудная ваша ржавь. С букетом.

– А это я знаю, где брать.

– А где вы берете, если не секрет?

– А на трясине. За кохинорской слободой.

– Где Садовое Кольцо?

– Ну да.

– В какую даль вы ходите!

– Но дак. Зато и ржавь знатная.

– Надо мне тоже туда наведаться.

Бабы все не шли. Бенедикт кашлянул вежливо, в кулак.

– Гости-то подойдут ай нет?

– Нет, я не решилась...

– А обещали?..

– Я подумала... вот... лучше я вам сперва открою свой секрет наедине... Не знаю, как вы воспримете... волнуясь...

– Да я вроде тоже...

– Я не знаю, способны ли вы оценить...

– Способен, – сказал Бенедикт, но не был уверен, что способен.

– Ну хорошо... Но это секрет. Вы, конечно, никому...

– Да-да.

– Ну, закройте глаза.

Бенедикт закрыл глаза. Варвара зашуршала. Стукнуло что-то. Опять шорох. Бенедикт приоткрыл один глаз и стал подглядывать. Но ничего еще не было вроде готово, только от свечи плясали тени на бревнах – и он опять зажмурился.

– Пора не пора – выхожу со двора-а! – пропел Бенедикт.

– Да погодите вы... Какой нетерпеливый...

– Мне невтерпеж, – соврал Бенедикт и в голос игривости подпустил. – Оч-чень даже невтерпеж.

Тут ему на колени тяжесть какая-то опустилась, легкая такая тяжесть, и плесенью пахнуло.

– Вот... Смотрите...

– Что это?!..

Коробка не коробка, а вроде того; внутри листы беловатые, похоже на свежую бересту, но светлее; тонкие-претонкие и будто мусорком присыпаны, али маком.

– Что это такое?!

– А вы ближе посмотрите!

Поднес к глазам. Мусорок такой ровненький... как нитки... смотрел, дивясь... Вдруг словно бы нитка распалась и по глазам ударила: «и свеча, при которой она читала полную тревог и обмана жизнь...» Ахнул: буквы! Точно, буквы! Написано мелко-мелко, до того уж аккуратно, и не коричневые, а черные... Послюнил палец, потер бересту: сразу протер дырку. Тонкая, бя!

– Осторожнее, попортите!

– Что это такое...

– Это книга... Старопечатная...

– А!!! – Бенедикт сорвался с тубарета, отбрасывая заразу. – Вы что!!! Заболею!

– Нет! Погодите! Да погодите вы!..

– Болезнь!..

– Нет!..

– Пустите!..

– Да сядьте! Сядьте! Я все объясню! Клянусь! – Варвара Лукинишна отдираала Бенедиктовы руки от засовов, трясла гребешками. – Совершенно безопасно... Никита Иваныч подтвердил!

– Он-то здесь каким боком?

– Он знает! Это он подарил!

Бенедикт притих, ослаб ногами, осел на тубарет, вытер нос рукавом, унимая дрожь. Никита Иваныч. Начальство. И не заболел. Держал книгу – и не заболел...

– Безопасно... – шептала Варвара. – Вы знаете, он чудесный старик... такой знающий... Пояснил мне: совершенно безопасно, это просто суеверие... Знаете, когда Взрыв случился, это все считалось опасным, радиация... ну, вы слышали... Поэтому запрещалось. От книг – радиация...

– Их послушать, Прежних, так от всего – радиация, – дрожал Бенедикт. – Нет, тут другое что-то...

– Но Никита Иваныч знает... У него есть... Если бы правда было опасно, он давно заболел бы, но вы же видите, он здоровее нас с вами...

– Зачем же... зачем же лечат?.. – тьфу, тьфу, тьфу?..

– Это традиция, тьфу, тьфу, тьфу...

Оба постучали по дереву.

...Боже упаси, боже упаси. Я не болен, я не болен, нет, нет, нет. Не заболею, не заболею, нет, нет, нет. Не надо приезжать, не надо, не надо. В красных балахонах не надо приезжать, тьфу, тьфу, тьфу. Крюком меня не надо, нет, нет, нет.

– ...Он мне пояснил... считалось очень опасно, потому что бумага впитывает... вот мы с вами и переписываем, чтобы чисто, чтобы не опасно народному здоровью... но теперь уже все равно, двести лет прошло... Мы с вами старые книги переписываем, Бенедикт...

– Как старые? Это все Федор Кузьмич, слава ему...

– Нет... Это все разные люди писали, но все равно считается, что Федор Кузьмич. Я чувствовала, что тут что-то... Знаете, когда я его увидела, Федора Кузьмича, я ночь не спала... все думала, думала... Потом решилась, набралась смелости, пошла к Никите Иванычу. Мы долго говорили...

– Он мне ничего такого...

– Ах, Бенедикт, он своеобразный человек... Мы говорили о вас... Он хотел вам сказать, но не сразу... подготовить... Я знаю, это большой удар... но, по-моему, лучше знать, чем бродить во тьме...

Бенедикт сидел на тубарете ссутулившись; мысли вразброд, в голове тупость. Может, он рано на работу вышел? Может, еще лихорадка не прошла? Что-то дрожь бьет. Или это после бани?.. К чему ж было умываться, когда не с кем целоваться...

– Ну и что теперь?

– Теперь? Ничего, просто теперь вы знаете.

– А зачем?

– Ну как... Я думала...

– А зачем думать? Я жить хочу.

– Но при чем здесь... Я тоже... но я хочу знать правду... если это возможно...

– «В великом знании многая печали»... Что ж, выходит, это тоже не Федор Кузьмич сочинил, слава ему?

– Наверно, нет.

– А кто?

– Я не знаю... Это у Прежних надо спрашивать.

Барвара Лукинишна подняла с полу старопечатную книгу, положила на стол, ручками погладила. Странно как-то и дико: такой ужас вблизи видеть.

– Все-таки: зачем вы трогаете... Если мы старые книги переписываем, дак и подождите, пока велено переписать будет... Тогда и в руки взять можно...

– Но когда еще... может быть, не скоро. А жизнь такая короткая, а я искусство просто обожаю... Это такая книга интересная!..

– Вы что ж – читаете ее?!

– А как же... Бенедикт, у людей много книг интересных... Хотите – я вам дам почитать?

– Нет!!! – шарахнулся Бенедикт.

– Да что вы так боитесь...

– Я пойду... Голова что-то...

– Подождите!..

Бенедикт вырвался, ссыпался с крыльца под дождик, в раннюю сырую тьму. С глаз долой. Голова, и правда, что-то...

...Мартовский ветер шумел в верхушках деревьев, шуршал голыми прутьями, заячьими гнездами, еще чем-то неведомым – кто же знает, что там возится, стонет, оживает по весне? Налетит ветер порывом – зашепчется, заночует в деревьях, осыплет голову дождевыми каплями. А то дикий крик сверху, с ветвей: весь передернешься, бросишься к забору поближе... Может, древяница...

...Пузыри в окнах слабо мерцают – голубчики свечи зажгли, суп хлебают... Переглядываются: у них, может, тоже старая книга под лежанкой припрятана... Двери запрем и доставим... Почитаем... А может, такая у каждого, а что?.. В этой избе... И в той... И вон в той, где помаргивает бледный свет, – свечка ли чадит, люди ли по горнице бродят, слабым смертным туловом огонь заслоняют; засовы пошевелият: крепко ли? – тянут с-под матраса, из вороха тряпич, пселых людских лохмотьев книжицу... книгу... А он тут один, как дурак перепуганный... Один на весь город... Буквы такие черненькие, маленькие... страшно подумать даже...

Наверху все шумело, ныло. Ветер забирался в рукава, продувал насквозь. Бенедикт постоял у чужого забора, размышляя. Печеная мышь только аппетит раздражила. Есть охота. А у него дома, в избе, и огня-то нет: затоптал, в гости собираючись. Думал, не пригодится. Вернуться, огня взять? Она даст, она добрая... Нет... Вернуться? – скрипучая дверь... тепло... белое обрадованное лицо блином, гребешки трясутся, торопливый шепот: сюда, сюда, у меня искусство... Вот сейчас, только плесень оботру... И свеча, при которой... полную тревог и обмана!.. Страх какой! «Страх, петля и яма», – Федор Кузьмич сочинил... Не Федор, говорит, Кузьмич, слава ему... Полную тревог... И обмана... Не Федор Кузьмич... Другой кто-то, невидимый, древний, лицо укрывший... Большой, наверное, белый и большой, бледный, старинный, давно вымерший, высотой с дерево, бородача до колен, глаза страшные... Сам страшный, стоит среди стволов, не пошевелится, только лицо воротит, а глазами все смотрит сквозь мартовский сумрак, шарит глазами-то, чтобы Бенедикта различить во мгле-то: где там Бенедикт-то, чего скрылся, чего привалился к забору, – а сердце в шее колотится, под язык подступает, уши глушит, – где Бенедикт, поди сюды, Бенедикт, чего сказать-то хочу, – да как выбросит руку, да корявым пальцем под ребра-то, со страшным криком древяницы: «Мя-я-я-я-я-я-я-я!!!»

Стукнуло дверью чужой избы – простой домашний стук, жизнь простая стукнула дверью, пьяный говорок да смех в сумерках, знать, гости у кого, праздник нынче, вот и вышли на крылечко – по нужде ли по малой али так – воздуху свежего вдохнуть, жизнь прожить, песню спеть, коту ногой наподдать!

Не заметили Бенедикта, оползшего под забор, никому он не виден, и страшный древний житель, что прочитал, а то написал, а то в тряпки припрятал полную обмана книгу, не заметил его, малого; как привиделся, так и сгинул, и нетути.

Домой. Темно у него в избе, пеплом пахнет, и до свадьбы еще далеко-далеко.

Мыслете

Прежние – они с виду, как мы. Мужики, бабы, молодые, старые – всякие. Больше пожилых. Но они другие. У них такое Последствие, чтоб не стариться. А больше никаких. И живут себе, и не помирают, от старости-то. От других причин – это да, это они помирают. Их совсем мало осталось, Прежних.

Они по избам своим сидят, а то на работу ходят, а какой и в начальство выбился – все у них, как у нас. Только разговор другой. Повстречается тебе на улице незнакомый голубчик – нипочем не догадаешься, наш он или из Прежних. Разве что спросишь его, как водится: «Хто таков? Почему не знаю? Какого хрена тебя в нашей слободе носит?» – а он нет чтобы ответить, как у людей водится: «А те чо, рыло носить надоело? Ща оборву да об колено» или другое что, – нет, чтобы так понятно, али сказать, вразумительно прояснить, – дескать, ты-то силен, да и я силен, лучше не связывайся! Нет, иной раз в ответ услышишь: «Оставьте меня в покое! Хулиган!» – ну тогда, точно, Прежний это.

А бывает, кто из них помрет, – ну, тогда они его хоронят, Прежние-то. И тоже не по-нашему. Камушки на глаза не кладут. Внутренностей не вынимают, ржавью не набивают. Руки с ногами веревкой не связывают, коленок не подгибают. С покойником в гроб ни свечки, ни мышки, ни посуды какой, ни горшков, ни ложек не кладут, лук-стрелы не кладут, фигурок малых из глины не лепят, ничего такого. Разве из щепочек крестик свяжут, в руки своему покойнику сунут, а то идола на бересте нарисуют и тоже в руки-то ему засовывают, как портрет какой. А которые и того не делают.

Вот как раз у них одна старуха и помри. Никита Иваныч к Бенедикту зашел, мрачный такой: недоволен, что Прежняя старуха померла.

– Бенья, у нас тут Анна Петровна преставилась. Пожалуйста, очень попрошу, по дружбе, помощи нести гроб. Такая распутица, все дороги развезло. Нам не справиться.

Что делать? Пошел помогать. А даже интересно посмотреть, как это у них все не по-людски делается.

Толпа такая небольшая, с дюжину. Народ все больше в годах. Не матерятся, ничего. Беседуют тихо. Личики расстроенные.

– А кто распорядитель-то?

– Виктор Иваныч.

– Опять Виктор Иваныч?

– А кто еще? У него огромный опыт.

– А транспорт не достал.

– Транспорт не дали. Говорят, гараж закрыт, погода плохая.

– У них всегда предлоги.

– Как будто вы не знаете.

– Издеваются над людьми.

– А то вы не привыкли.

Виктор Иваныч, распорядитель ихний, – моложавый такой; волос у него светлый, короткий, набок зачесан. На личике неудовольствие. Рукав красными нитками обмотан, чтоб его издали видеть было. Не мурза, но вроде того, так что на всякий случай Бенедикт ему – поклон. Тот бровями шевельнул: принял. Сказал Бенедикту:

– Не толпитесь.

Гроб наземь поставили, рядом с ямой. Рядом тубарет приткнули и подушечку красную на тубарет наложили. Встали жиденьким полукругом, шапки сняли. Виктор Иваныч двоих выбрал, пальчиком ткнул.

– Вы и вы. Прошу. В почетный караул.

Толпу строго так поверх голов оглянул и голос возвысил:

– Гражданскую панихиду считаю открытой. Начинаю!

Прежние ему:

– Начинайте, начинайте, Виктор Иванович. Холодно.

Виктор Иванович голос еще возвысил и начал:

– Родственники, близкие есть? Попрошу в первые ряды!

Никто не вышел. Нетути у нее родни, значит, как и у Бенедикта. Сама мышей ловила.

– Сослуживцы?..

Никого. Одна голубушка высунулась:

– Я соседка. Я за ней присматривала.

Виктор Иванович ей злобно так, обычным голосом:

– Не забегайте вперед! Я еще не вызывал.

– Да я мерзну! Давайте скорее.

– Будете хулиганить – попрошу очистить помещение! – рассердился Виктор Иванович. –

Есть порядок!

– Да в самом деле! – закричали из толпы. – Есть порядок, вот и давайте соблюдать! А то бардак выйдет. Как всегда. Только время теряем!

Виктор Иванович голос прежний сделал: возвышенный и как бы звонкий, как будто в лесу аукается:

– Соседи, домочадцы?.. В первые ряды.

Соседка, что скандалила, вперед забежала. Виктор Иванович в личико теплоты чуток подпустил: рот в куриную гузку собрал и подглазьями-то как бы заморщился. Бабе этой локоть пожал и сказал:

– Крепитесь.

Баба заплакала. А Виктор Иванович опять аукнул:

– Боевые награды, медали, ордена есть?.. Правительственные награды?.. Дипломы государственных учреждений?.. Нагрудные знаки?.. Погоны, орденские планки?..

Ничего не было.

– Билеты партийный, комсомольский, профсоюзный?.. Билеты государственной лотереи?.. Облигации внутреннего займа?.. Трудовая книжка?.. Удостоверения членов творческих союзов?.. Нет?.. Документы на право вождения транспорта?.. Грузового?.. Легкового?.. Трактора с прицепом?.. Нет?.. Жилищно-эксплуатационные документы?.. Абонентские книжки?.. Газ?.. Телефон?.. Коллективная антенна?.. Квитанции на перерасчет?..

Слова все такие непонятные, смешные, ужаси. Бенедикт не выдержал, хихикнул, обернулся на толпу: небось тоже со смеху давятся? Нет, слезы в три ручья точат. Личики такие, будто в даль какую глядят. Баба одна ручки заломила, шепчет: «Не ценили... Не ценили...» И Никита Иванович тоже слезы точит. Бенедикт ему шепнул:

– Вы чего, Никита Иванович? Старуху жалко?

– Помолчи, Бенья! Помолчи, пожалуйста. Это же вся жизнь... Господи... Вот она какая... Вся жизнь человеческая...

Затрясся, рукавом лицо обтирает. А Виктор Иванович:

– Инструкции к пользованию приборами бытового обслуживания?.. Нет?.. Телевизор?.. Плита газовая?.. Электрическая?.. Печь микроволновая?.. Примус?.. Нет?.. Пылесос?.. Полотер?.. Машина стиральная?.. Швейная?.. Приборы кухонные бытовые?..

– Есть, есть! Есть инструкция! – зашевелились в толпе.

– Очень хорошо! В первые ряды попрошу! Что за инструкция?

– Это на мясорубку. Со сменными насадками.

– Сюда кладите. Сюда. На подушечку.

Вышел пожилой голубчик, положил на красную подушечку клок замурзанный, обтерханный не-разбери-чего, и камушком придавил, чтоб ветром не сдуло. Тут все бабы ихние в голос зарыдали, завывли, как испорченные. Одной вроде как плохо стало, так ее поддерживали и в личико ей руками махали.

– Мужайтесь, товарищи! – объявил Виктор Иваныч. – Так! Еще! У кого еще есть памятные предметы?.. Реликвии?.. Нет?.. Все?.. Я перехожу ко второй части!.. ТОВАРИЩИ! – тут Виктор Иваныч издал такой трубный глас, прям как слеповран какой, что Бенедикт даже присел и оглянулся. Так, бля, крикнул, будто здесь не дюжина голубчиков собрамши, а вся тыща.

– Смерть вырвала из наших рядов, – продолжал Виктор Иваныч, – незаменимого труженика. Светлого человека. Достойного гражданина. – Виктор Иваныч уронил головку на грудь и помолчал. Бенедикт присел и заглянул ему в личико: плачет? Нет, не плачет. Посмотрел на Бенедикта со злобой. Снова головкой-то дернул и продолжает: – Горько. Бесконечно горько. В преддверии славной годовщины, двухсотлетия Взрыва, —...

– Виктор Иваныч, Виктор Иваныч! – зашевелились Прежние. – Это вы совсем не то говорите!..

– Как не то?.. А, верно. Извиняюсь. Это на другой случай. Спутал.

– А вы не путайте!

– А вы не сбивайте! Сбивают тут! – ощерился на Бенедикта. – Толпятся!

– Это Полины Михайловны сынок!

– Не ссорьтесь, господа! Давайте продолжать! «В преддверии...»

Виктор Иваныч собрался, опять выражение на личико нахмурил, руки по швам сделал.

– В преддверии траурной годовщины, двухсотлетия Взрыва, разбросавшего и вновь сплотившего наши ряды, от нас ушел... ушел... большой, светлый товарищ, незаменимый гражданин, скромный, незаметный труженик. Огромной души человек. Он ушел, но дело его не умерло. Пусть вклад Анны Петровны в дело восстановления нашего Светлого Прошлого был невелик, – Виктор Иваныч повел рукой на подушечку, – но он весом, груб, зрим... Земля тебе пухом, Анна Петровна!.. От общественности слободы кто хочет сказать? Вы, Николай Максимыч?.. Прошу.

Вышел другой пожилой голубчик, волоса на ветру развеваются. Заплаканный. Высморкался.

– Анна Петровна! Безвестная ты труженица! – заговорил ей прямо в гроб-то. – Как же ты так, Анна Петровна? А?! А мы! Не ценили мы тебя! Не интересовались! Думали – ну, Анна Петровна и Анна Петровна! Старушечка там какая-то! Думали, ты всегда с нами будешь. Да что там, честно говоря, ни в грош мы тебя не ставили! Кому она нужна, думали мы, мелкая, злобная, коммунальная старушонка, только под ногами путается, поганка вредная, прости господи!..

– Э, э, – зашевелились голубчики, – полегче!

– Де мортибус аут бене аут нихиль! – гаркнул кто-то над ухом.

– А чего я-то? – дернулся Бенедикт. – Чего я-то сделал?..

– Это не про тебя, не про тебя, спокойно, Бенья, – Никита Иваныч обдернул Бенедикта. – Стой спокойно, не вертись.

– ...Кому, говорю, ты была нужна, Анна Петровна, комар невидный! Интересы кухонные, от печи не отходила! Вон чего от тебя осталось-то: как покушать, да и все тут! А ведь жалко нам тебя, Анна ты Петровна! И без тебя народ неполный!

Виктор Иваныч голубчику руку пожал, поблагодарил:

– Очень хорошо сказали, товарищ. Благодарим вас. От общества охраны памятников, Никита Иваныч, вас попрошу!

Никита Иваныч вышел, тоже высморкался.

– Друзья! – начал. – Что говорит нам этот памятный предмет? – на подушечку указал. – Бесценная реликвия минувшего! Какую повесть поведала бы она нам, если бы заговорила? Скажут: музейный прах, пыль веков! Инструкция к мясорубке!.. Тоже мне!.. Но, друзья мои! Но! Как бывший музейный работник, чьи обязанности я и сейчас с себя не слагаю, я вам скажу! В эти трудные годы – каменный век, закат Европы, гибель богов и все то, что мы с вами пережили, друзья, – в эти годы инструкция к мясорубочке-то не менее ценна, чем папирус Александрийской библиотеки! Интегральная часть Ноева ковчега! Таблички Хаммурапи! Да что там! Материальная культура, друзья, ежечасно восстанавливается. Вновь изобретено колесо, возвращаются коромысло, солнечные часы! Скоро научимся обжигать горшки! Верно, друзья? Придет черед и мясорубки. И пусть сейчас она так же загадочна, как тайна пирамид, – стоят ли они еще, мы не знаем, – так же непостижна уму, как каналы Марса, – но пробьет час, друзья, и она заработает! И прав Виктор Иванович – она возникнет перед нами весомо, грубо, зримо, как в наши дни дошел водопровод, сработанный еще рабами Рима! – водопровод, к сожалению, до наших дней не дошел, но и он не за горами! Будет, все будет! Главное же – сберечь духовное наследие! Предмета как такового нет, но есть инструкция к пользованию, духовное, не побоюсь этого слова, завещание, весточка из прошлого! И Анна Петровна, незаметная, скромная бабушка, сберегла эту весточку до смертного своего часа! Хранительница домашнего очага, краеугольный камень, всему миру опора! Урок нам всем, друзья. Памятник нерукотворный! Тверже меди, долговечней пирамид! Низкий тебе поклон, Анна Петровна, святая ты душа!

Заплакал и отошел.

– Очень хорошо сказали, Никита Иванович. Благодарим вас. От диссидентов, Лев Львович, попрошу, – возгласил Виктор Иванович. Вышел такой голубчик кудлатый, тощий. Личиком покривился. Пальчики на пузике сцепил. Покачивается с носка на пятку.

– Господа, это символично: мир гибнет, но мясорубка неразрушима. Мясорубка истории. И здесь я позволю себе не согласиться с представителем общества охраны памятников, – опять покривился. – Мясорубка, господа. Со сменными насадками. Но все та же. Только насадки поменялись. А свобод как не было, так и нет. И что самое печальное. Укорененность. В народном сознании. Инструкция по завинчиванию гаек. Вечное коловращение рычагов и ножей. Вспомним Достоевского. Всему миру погибнуть, а мне чтоб чай пить. Или мясо прокручивать. Пушечное мясо, господа. И в этот час мне горько. Нас уже прокрутили. И еще хотят. Об экономическом положении я сейчас говорить не буду: мы все замерзли. Я просто обращаю ваше внимание: да, мясорубка. Сработанная еще рабами Третьего Рима. Рабами! А ксероксов нет!

– Очень хорошо сказали, Лев Львович. Благодарим вас. От женской общественности?.. Лилия Павловна!

Бенедикт бабу слушать не стал, присел в сторонку на кочку, ждал, пока закончат. Подмерзать стало, поверх разбитой ногами глины прихватило морозцем, и крупку наметает. Все весна не проклюнется, все никак не проклюнется. В тепло бы да на лежанку. А Оленька чтоб оладьев поднесла да кваску горяченького. Оленька!.. Краса ненаглядная! Страшно даже на такой красоте жениться! Коса долгая... Глазки ясные... Личико яичком, али сказать, треугольничком. Сама полненькая, а может, это на ней одежи теплой понакручено. Пальчики тоненькие. Скорей бы Майский Выходной наступил... Пушай у окна сидит да вышивает, а Бенедикт на нее день бы деньской любовался.

...Прежние меж тем поговорили, поплакали, попели что-то унылое, зарыли свою старушку и расходиться начали. Никита Иванович, носом шмыгая, подсел к Бенедикту, кисет развернул, ржавки в листик напёхтал, себе сверточку, Бенедикту сверточку. Огоньком пыхнул – закурили.

– Отчего она помре, Никита Иванович?

– Не знаю, Бень. Кто ж знает?

– Объемшись али как?

- Эх, Беня!..
- Никита Иваныч, а я жениться думаю.
- Дело хорошее. А не молод ты еще жениться?
- Никита Иваныч! Мне третий десяток!
- Тоже верно... А я тебя хотел привлечь к одному делу... По старой дружбе...
- Что за дело такое? Столбы ставить?
- Лучше даже... Хочу памятник Пушкину поставить. На Страстном. Проводили мы Анну Петровну, я и подумал... Ассоциации, знаешь ли. Там Анна Петровна, тут Анна Петровна... Мимолетное виденье... Что пройдет, то будет мило... Ты мне помочь должен.
- Что за памятник?
- Как тебе объяснить? Фигуру из дерева вырежем, в человеческий рост. Красивый такой, задумчивый. Голова склонена, руку на грудь положил.
- Это как мурзе кланяются?
- Нет... Это как прислушиваются: что грядет? Что минуло? И руку к сердцу. Вот так. Стучит? – значит, жизнь жива.
- Кто это Пушкин? Местный?
- Гений. Умер. Давно.
- Объемшись чего?
- О господи, твоя воля!.. Прости, господи, но что ж ты за дубина великовозрастная!.. митрофанушка, недоросль, а еще Полины Михайловны сын! Впрочем, я сам виноват. Надо было тобой раньше заняться. Ну вот теперь мне будет дело на старости лет. Поправим. Профессия у тебя хорошая, ты начитан – да?
- Начитан, Никита Иваныч! Читать страсть люблю. Вообще искусство. Музыку обожаю.
- Музыку... Да... Я Брамса любил...
- Брамс я тоже люблю. Это беспрерывно.
- Откуда же ты можешь знать? – Старик удивился.
- Ну а то! Хэ! Да Семен-то – Семена знаете? Он на Мусорном Прудку избушку держит? Рядом с Иван Говядичем-то? Вот так – Иван Говядича избушка, а так – Семена? Справа-то, где ямина?
- Ну, ну, так что ж этот Семен?
- Ну дак он как квасу наберется, такую музыку громкую играет: ведра-то, горшки-то вверх дном перевернет да давай палками в их бить, – тумпа-тумпа, тумпа-тумпа, а потом в бочку-то, в днище-то: хрясь!!! – брамс и выйдет.
- Да... – Никита Иваныч вздохнул.
- Посидели, помолчали, покурили. Да, приятно про музыку думать. Или пение... Надо на свадьбу Семена позвать. Ветер дунул, бросил еще снежной крупки.
- Ну что, пойдёмте, Никита Иваныч?.. А то у меня хвостик мерзнет.
- Какой хвостик?!
- Какой – обыкновенный. Сзади который.

Наш

Вот тебе и пожалуйста. Вот оно! Человек предполагает, а Бог-то располагает. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу! Утратив правый путь во тьме долины! Жил, жил, солнышку радовался, на звезды печалился, цветки нюхал, мечты мечтал приятные – и вдруг такой удар. Это, прямо сказать, драма! Позор и драма – такого ужаса еще небось ни с кем и не приключалось, даже с колобком!!!

Всю жизнь Бенедикт прожил, гордясь: вот он какой гладкий да ладный; и сам знал, и люди говорили. Личика-то своего, конечно, человеку не увидеть, разве воды в миску налить, свечку зажечь и глядеться. Тогда чего-то слабенько видать. Но тулово-то, оно ж вот оно. Оно ж все на виду. Вот руки, ноги, пуп, титьки, уд срамной, вот пальцы все, на руках и на ногах, – и все без малейшего изъяну! А сзади, конечно, чему быть? – сзади зад, а на зад – хвостик. А теперь Никита Иваныч говорит: у людей хвостика нет и быть не должно! А?! Так что же это, Последствие?!

Конечно, было время, у Бенедикта хвостика не было. В детские-то годы все было назади гладенько. А как начал в возраст входить, как мужская сила начала в нем прибывать, так хвостик расти и начал. Бенедикт думал, так и надо; тем, дескать, мужик от бабы и отличается, что все в нем растет наружу, а у ей все внутрь. Борода али волос по телу тоже сначала не росли, а потом выросли, и стало красиво.

А ведь он гордился своим хвостиком-то! Ладный такой хвостик, белый, крепкий; длиной, сказать, с ладонь будет али поболее; если Бенедикт чем доволен али радуется, так этот хвостик из стороны в сторону помахивает, да и как же иначе? А если страх какой нападет али тоска – хвостик как-то поджимается. Всегда по хвостiku чувствуется, в каком человек настроении. И что же, теперь оказывается, что это ненормально? Неправильно? Бляха-муха!.. Может, и срамной уд, пуденциал по-книжному, – тоже неправильный? Обглядите, Никита Иваныч!

Никита Иваныч Бенедикта обглядел и сам расстроился. Нет, говорит, уд у тебя правильный, прекрасный и здоровый, числом один, такой бы да всякому, а хвостик тебе совершенно не нужен, и даже удивляюсь, как это ты, мечтатель и неврастеник, раньше не всполошился. И говорил ведь я тебе: меньше мышей есть надо! И давай я тебе его сейчас же ампутирую, а это значит, возьму топор да и отрублю. Тяп.

Нет!!! Страшно!!! Как же: отрублю?! Как все равно руку али ногу! Нет! Ни за что! А он: давай, давай, может, у тебя вся дурь-то, все неврозы от хвостика!.. Нет, нет! Не дамся! Но вот как же теперь жениться-то?! Как теперь Оленьке, светлой красавице, в глаза смотреть? Ведь жениться – это не только оладьи, да вышиванье, да по саду-огороду прогулки рука об руку, это ж портки снимать! А Оленька глянет да и испугается: что это?! А?! А бабы-то: Марфушка, да Капитолинка, да Верка Кривая, да Глашка-Кудлашка, да и другие многие, – ничего ему такого не сказали, никаких замечаний али неудовольствия не выражали. Наоборот, нахваливали! Дуры неученые! кроме своего бабского дела, ничего знать не хотят!

Да, но как теперь быть-то: ведь полдела сделано, ведь он, считай, уже посватавшись и в гости к своякам напросившись, ведь уже с Оленькой сговорено, и день назначен к ним в избу идти, кланяться да знакомство заводить! Здравствуйте, милые, хочу вашу девушку за себя вза-муж взять! – А ты кто такой будешь и в чем твое преимущество? – А я буду Бенедикт Карпов, Карпа Пудыча покойного сын, а тот Пуда Христофорыча, а тот – Христофора Матвеича, а чей тот Матвей и откуда – того не упомним, во тьме времен потерялся. А в том мое преимущество, что молодой, да здоровый, да из себя пригожий, да работа у меня хорошая, чистая, а сами знаете... – А не врешь ли ты нам, Бенедикт Карпов? – А не вру. – А отчего это у тебя, Бенедикт, имя собачье? А может, то не имя, а прозвище?.. А отчего бы это тебя собачьим именем прозвали? В чем твое Последствие?..

Вот где драма-то.

Да мало ли, да какое мне дело-то, что у других голубчиков тоже Последствия бывают: волос лишний, да сыпь, да шишки-волдыри! Волдыри – по воде пузыри, лопнут – и нету их. Рожки, да ушки, да петушинные гребешки тоже никого не красят, да мне-то что в том! Своя-то болячка – велик желвак, чужая болячка – почесуха! Да и нету в рожках да ушках секрета никакого, все на виду, люди и привыкли. Никто смеяться не будет: эй, чего у тебя рожки! – они тут всегда были, рожки-то, глаз и не видит. А хвостик – он вроде как секрет, тайный такой, али сказать, интимный. Кабы он у всех был, хвостик, так оно бы и хорошо. А коли он у одного тебя – это стыд.

Нет чтобы досталось какое роскошное Последствие, вот как Никите Иванычу выпало: огнем пыхать! Чисто, красиво, люди боятся, уважают. Главный ты наш, говорят, Истопник, батюшка! А про Бенедикта скажут: пес! пес ты приبلудный, подзаборный! – вот как собакам всегда говорят, да и то сказать: какой же голубчик, завидев пса, не захочет ногами на него натопать, али пнуть, али палкой бросить, али ткнуть чем, али просто обматерить всего, да не то чтобы со злобы – нет, злобу для людей приберечь надо, – а как бы с презрением.

А Никита Иваныч рассуждает: ну что ж, с другой стороны, хвост свойствен приматам; в глубоком прошлом, когда еще люди не вышли из животного состояния, хвост был нормальным явлением и никого не удивлял; очевидно, он начал исчезать, когда человек взял в руки палку-копалку; теперь же это атавизм; но что меня беспокоит, так это внезапный возврат именно этого специфического органа. К чему бы это? Все ж таки у нас неолит, а не какое-нибудь дикое общество; к чему бы это?

А Бенедикт ему со слезой: вам-то хорошо рассуждать, слова всякие говорить, Никита Иваныч! вот вы хотите прошлое восстанавливать, столбы ставить, пушкина из дерева резать, а что у меня это прошлое на заднице болтается, а мне жениться надо, дак вам это нипочем! А и все вы, видать, Прежние, такие: «восстановим светлое прошлое во всем его объеме», дак вот вам и весь объем! Натё! А как вы есть такие ревнители прошлых лет, дак отчего бы вам с хвостами не разгуливать, а мне лишнего не надобно! Я жить хочу!

А Никита Иваныч: согласен, юноша, слышу речь не мальчика, но мужа. Но только ведь и я о чем: чаю возрождения духовного! Пора бы уж! Чаю братства, любви, красоты. Справедливости. Уважения друг к другу. Возвышенных устремлений. Желая, чтоб место мордобоя и разбоя заступил разумный, честный труд рука об руку. Чтобы в душе загорелся огонь любви к ближнему.

А Бенедикт: ага, сейчас. У вас-то огонь, вам-то рассуждать сподручно. Всякий вам кланяется, в ножки валится, небось сурпризы в туесах носит: блины али вермишель! А ежели что не по-вашему – пыхнули да и подожгли лютого врага, можно сказать, испекли! А нам-то, простым-то, как жить?

А Никита Иваныч: нет, подожди, юноша, подожди, ты меня опять не понял. Никого я поджигать не собираюсь, помогаю по мере возможности. Конечно, Последствие у меня своеобразное, удобное, прикурить – всегда пожалуйста. Но ведь я тоже, может быть, не вечен, – вот и Анна Петровна отошла в мир лучший, идеже нет ни печали ни воздыхания. Пора бы вам, любезные мои, перестать надеяться на дядю и немножечко – ну немножечко – проявить инициативы. Пора самим добывать огонь!

А Бенедикт: да ей-богу, Никита Иваныч, вы что, дурной, что ли? Да где ж мы огонь возьмем? Это ж тайна! Это ж нельзя знать! Откуда он берется? Вот разве у кого изба загорится – это да, это все сбегутся и давай себе в горшки угольков набирать. Тогда конечно. А ежели по всему городу печи погаснут? А?! Жди грозы-молоньи? Мы ж все померем дожидаясь!

А Никита Иваныч: а трением, юноша, трением. Попробуйте, а я бы и рад, да стар уже. Не могу.

А Бенедикт: ай да ну вас, Никита Иваныч. Старый, а похабничаєте. Ну вас совсем.

– Портрета его, – сказал Никита Иваныч, – у меня, к сожалению, нету, о чем вечная моя печаль и терзание. Не уберег. Что спасем из горящего дома? Что унесем с собой на необитаемый остров? – вечный вопрос! А ведь долго когда-то препирались все на летних верандах, на зимних кухнях, а то со случайными попутчиками на междугородных поездах! Какие три книги самые ценные в мире? Какие дороже всего сердцу? Вот ты, юноша, что бы вынес из горящего дома?

Бенедикт крепко, честно подумал. Изба представилась. Как войдешь – на правую, значит, руку, – стол с тубаретом. Стол эдак к окну придвинут, чтоб светлее; на столе, понятное дело, свеча, ну а уж у стола – тубарет. Одна ножка у него подгнила, а подправить – руки не доходят. Потом там дальше вдоль стены – еще стуло. Раньше на нем матушка сидела, а теперь никто не сидит, а Бенедикт на него другой раз зипун вешает али одежду бросает. Так, а больше там ничего нету. От того угла, стало быть, другая стена отходит, и там уж лежанка. На лежанке, известно, тряпье. Над лежанкой, на стене, полка приколочена, на полке книги стоят, ежели воры не украли. Под лежанкой, как у всех, – короб для дряни всякой, для нужного мусора, который выбросить жалко, для инструмента – гвозди там, другое что. В изголовье лежанки – опять угол. На третьей стене-то, это которая, как взойдешь, напротив тебя будет, – печь. Ну что печь! Она и есть печь. Все про нее понятно. Сверху на ней тоже лежанка, кто тепло любит, спонизу в ней еду варят. Заглушки, засовки, загашнички, заслонки, воротильнички, потайные схоронилища – все на печи. Вся она вокруг себя веревками обмотана: сушить что, али так, для красоты развесить. И такая она, печь-то, широкая, такая, сказать, толстозадая, что на четвертой стене и места, почитай, ни для чего не осталось: пара крючков – шапку вешать, да полотенце, да и все тут. Ну и дверь в чулан, конечно, где ржавь храним, грибыши сушеные.

Что бы вынести, если, не дай бог, пожар? Ржавь? – да ну ее! – всегда новой набрать можно. Миску новую? – тоже выдолбить можно. Стуло жалко немного, стуло еще давнишнее.

– Я бы стуло вынес, – сказал Бенедикт.

– Да?! – изумился Никита Иваныч. – Почему?!

– Матушкино.

– Ах, ну это понятно. Сентиментальная ценность. Ну а книги? Книги тебе не дороги?

– Книжицы, Никита Иваныч, я прямо вот как обожаю, да что в том? Ежели надо, я всегда заново перекатаю. А то на мышей сменяю. Да и потом, Никита Иваныч, ведь если пожар, не приведи господь, – они ж первые загорятся. Пых! – и нетути. Это же дрянь, береста, матерьял пустой.

– Но слово, начертанное в них, тверже меди и долговечней пирамид! А? Скажешь нет?

Никита Иваныч засмеялся и похлопал Бенедикта по спине, будто откашляться помогал.

– Ведь и ты, юноша, причастен! Причастен! – даром что раззява, невежда, духовный неандерталец, депрессивный кроманьон! А и в тебе провижу искру человечности, провижу! Кое-какие надежды на тебя имею! Умишко у тебя какой-никакой теплится, – продолжал оскорблять Никита Иваныч, – душа не без порывов, н-да... «Суждены вам благие поры-ы-ы-вы, но свершить ни-чччче-го не дано!» – пропел Никита Иваныч омерзительным голосом, как козляк проблеял. – Ну а мы с тобой вот и свершим что-нибудь симпатичное, душепользительное... Есть в тебе, пожалуй, какой-то артистизм...

– Никита Иваныч! – обиделся Бенедикт. – Да что же вы все слова какие!.. Лучше бы сразу ногой пнули, ей-богу, что же вы обзываетесь!..

– Да, так вот, – рассуждал старик, – портрета его у меня нету, но я тобой поруковожу. Росточка он был небольшого.

– А вы сказали: гигант. – Бенедикт утер нос рукавом.

– Гигант духа. Вознесся выше он главою непокорной...

– ...александрійского столпа. Знаю, переписывал. Дак мы ж не знаем, Никита Иваныч, сколько в том столпе аршин.

– Неважно, важно! Вот из этого бревна, – другого, извини, нету, – вот из этого бревна мы его и извлечем. Мне, главное, голову склоненную и руку. Вот так, – изобразил Истопник. – На меня смотри. Голову режь курчавую, нос прямой, лицо задумчивое.

– Борода длинная?

– Без бороды.

– Совсем?!

– Сбоку вот эдак – бакенбарды.

– Как у Пахома?

– Ты что! Раз в пятьдесят поменьше. Значит, так: голова, шея, плечи, и руку, руку главное.

Понял? – локоть согни.

Бенедикт постучал валенком по бревну. Звенит; древесина хорошая, легкая. Но плотная. И сухая. Хороший матерьял.

– Дубельт? – спросил Бенедикт.

– Кто?!?!

Старик заругался, заплелся брызгами, глазенки засверкали; чего взбеленился – не пояснил. Красный стал, надулся как свеклец:

– Пушкин это! Пушкин! Будущий!..

Вот кто после этого кроманьон? Кто не ВРАСТЕНИК-то? Почему и дела с ними никакого не сделаешь, с Препными: кричат не вовремя, ругаются ненашими словами, дергают тебя незнаком с чего, вечно недовольны: ни шутки хорошей не понимают, ни пляски, ни игр наших, никакого выражения народного, душевного, все-то у них: «О-о! Ужас!» – когда никакого ужаса.

Ужас, это как? – это когда Красные Сани скачут, тыфу, тыфу, тыфу, нет, нет, нет; не меня, не меня; али когда про кысь подумашь, вот это ужас. Потому что тогда ты – один. Совсем один, без никого. И на тебя – надвигается... Нет!!! – и думать не хочу... А какой же ужас, когда хороводы водим да в поскакалочку, к примеру, играем?

А игра хорошая. Вот гостей созовешь, перво-наперво все в избе приберешь. Локтем со стола обьедки на пол сгребешь: эй, мышшь, набегай! Мусор, что в доме набрался, под лежанку, конечно, валенком затолкаешь, чем-нибудь там загородишь, чтоб не торчало. Тряпье на лежанке разгладить: простынь там, одеялко расправишь гладенько. Если простынь уж очень грязная, так и постираешь. А нет – и так сойдет. Ежели где завалялся подзор вышитый, али полог, – обтряхнешь, вдоль печи красивенько приладишь, будто всегда так и было. Свечки зажжешь, всюду налепишь, не пожалеешь, чтоб светло и празднично. Закусоч, жаркого наваришь-нажаришь, все на столе рядками порасставишь. Браги жбан на стол выставишь, еще другие жбаны в холодильнике, в чулане наготове держишь. Но и гости тоже принесут, с пустыми руками кто же в дом завалится? михрютка разве какой, художониче, писяк звезданутый. Беспременно надо в дом подношеньице... Вот соберутся – чистые, намытые-начесанные, одежда свежая, если у кого нашлась. Шутки, смех. Спервоначалу за стол. Лепота на столе! Мыши печеные, мышши отварные, мышши под соусом. Хвостики мышинные маринованные, икра из глазок. Потрошки квашенные тоже с квасом хорошо идут. Лепешки постные из хлебеды. Грибыши по сезону. Кто побогаче – блины. Кто совсем в достатке живет – ватрушка. Вот сели, благословясь, браги налили, хватанули по первой – понеслось... Тут же сразу по второй. Вот в голову стукнуло, забирать стало. Хорошо! Если ржавь хорошая, забористая, так и не заметишь, что еды-то мало. Наелись, отвалились, – по третьей-четвертой, – это уж и забыли когда было, на десятую переваливаем. Курим, смеемся. Сплетни сплетничаем, чего с кем было друг другу рассказываем, врем. Если бабы в гостях – с бабами заигрываем: щиплем там, руками хватаем, интересуемся. Песню с притопом хором грянем:

Эх, сыпсы, горох,
На двенадцать дорог!

Когда буду помирать,
Тогда буду подбирать!

Ну а потом играть. Вот в поскакалочки игра хорошая, веселая. Значит, так. Правила такие. Свечки потушить, чтоб темно было, сесть-встать где попало, одному на печку забраться. Сидит он там, сидит, да ка-а-ак прыгнет с криком громким, зычным! Ежели на кого из гостей попадет, дак непременно повалит, ушибет, али сустав вывихнет, али еще как пристукнет. Ежели мимо – дак сам расшибется: голову, али колено, али локоть, а то и ребро переломит: печь, она ж высокая. Об тубарет в темноте удариться можно будь здоров! Об стол лбом. Вот ежели не разбился, опять на печь лезет, а ежели из игры выбыл – другому уже невтерпех: пустите, теперь я прыгну! Вопли, крики, смех – право, уписаешься, такая игра чудесная. А потом свечки зажжем да и посмотрим, кто как повредился. Ну, тут, конечно, еще больше хохоту: вот ведь только что был у Зиновия глаз – ан и нетути! А вон у Гурьяна рука надломивши, плетью висит, какой теперь с него работник?

Конешно, ясное дело, ежели мне кто член какой повредит, урон тулову причинит, это не смешно, это я осерчаю, спору нет. Тут и рассуждать нечего. Но это если мне. А если другому – тогда смешно. А почему? – потому что я – это я, а он – это уж не я, это он. А Прежние говорят: о! ужас! как можно! – а того не понимают, что если бы все по-ихнему было бы, то и смеха, веселья никакого на свете бы не было, а сидели бы все по домам постные и унылые, и ни тебе приключений, ни плясок вприсядку, ни визгу бабьего.

А еще мы в удушилочку играем, и тоже интересно: подушкой на личико навалишься и душишь, а тот-то, другой, брыкается, вырывается, а вырвется – весь такой красный, вспотевши, и волоса врозь, как у гарпии. Редко кто помирает, народ же у нас сильный, сопротивляется, в мышцах крепость большая, а почему? – потому что работает много, в полях репу садит, каменные горшки долбит, снопы вяжет, деревья на бревна рубит.

А не надо оскорблять, говорить, что умишко у нас еле теплится: ум у нас прозорливый, соображаем небыстро, но хорошо. Вот соображаем: дерево дубельт – хорошее дерево для бура-тины, и на ведра хорошо, и бочки из него знатные. Клеель – тоже отличное дерево, и на веники самое оно, и орешки вкусные, и много чего, но резать символ с него несподручно, потому что смола, натеки большие, липкие. Береза – смотреть на нее хорошо, а ствол тонкий и кривой, резать трудно. У Окаян-дерева ствол еще тоньше, все узлами, шишками, колтунами, одно слово: Окаян-дерево! Вербa – негоже, сусень – волокнистый очень, хватай-дерево – круглый год мокрое. Много еще всяких пород, али сказать, разновидностей, еще когда их пересчитаешь, а мы все, почитай, знаем. Вот сейчас кору обдерем, долотом ямки наметим... К свадьбе и спворим идола.

Бенедикт вздохнул, пошептал, плюнул, все как полагается, и – Господи, благослови! – топориком вдарил по дубельту.

Он

Терем у Оленьки, у семьи ихней, с улицы не видать. Забор высокий, глухой, островерхий. Посередь – ворота. В воротах – кольцо каменное. От ворот сбоку – будка. В будке – холоп.

Бенедикт, когда с Оленькой сговаривался, хотел вперед себя сватов выслать. Оно как-то легче, когда сваты за тебя все что надо скажут, по рукам ударят, сговорятся. Расхвалят тебя за глаза: мол, он у нас и такой уж, и сякой уж, и разэдакий, не мужик, а розан в цвету, ясный сокол. Но Оленька замялась: нет, не надо сватов... мы семья современная... не надо. Сами приходите. Сядем рядком, поговорим ладком... Покушаем...

Гостинцы взял: мышей связку, жбан квасу – чтоб не с пустыми руками в дом приходиться – и букет колокольчиков.

Вроде все путем. А боязно. Что будет?

Подошел к воротам, постоял. Из будки холоп вышел. Недовольный.

– К кому?

– Ольги Кудеяровны сослуживец буду.

– Назначено?

– Назначено.

– Обожди тут.

Холоп в будку возвратился, долго берестой шуршал.

– Как звать?

Бенедикт сказал. Опять холоп берестой пошуршал.

– Проходи.

Калитку малую в заборе отворил – Бенедикт прошел. А там другой забор, аршин на пять от прежнего отступя. И еще будка, а в ней тоже холоп, еще недовольней прежнего.

– К кому?

– Ольги Кудеяровны сослуживец.

– Что несешь?

– Гостинцы.

– Гостинцы сдать.

– Как это... Я ж в гости зван, как я без гостинцев?

– Гостинцы сдать и вот тут расписаться. – Холоп Бенедикта будто и не слышал. Бересту развернул и записал: «Мышь домашняя бытовая – дюжина. Квасу жбан деревянный малый – один. Цветки синие полевые – пучок».

Бенедикт вдруг – к месту не к месту – рассердился:

– Цветки не отдам!!! Не имеете права!!! Я в гости самолично Ольгой Кудеяровой приглашенный!!!

Взял да, перед тем как расписаться, «цветки» и вычеркнул.

Холоп подумал-подумал:

– Пес с тобой. Проходи.

Как выразил-то нехорошо – «пес». Но пропустил. За второй забор пропустил – а там третий. У третьих ворот два холопа с лавки поднялись, не говоря худого слова, а и доброго не говоря, Бенедикта с ног до головы всего ладошами обхлопали: видать, дознавались, не запрятал ли чего в штанах да под рубахой. А только ничего лишнего, кроме хвостика, у него не было.

– Проходи.

Бенедикт думал, там опять забор, а нет, забора не было, а только открылся сад-палисад с деревьями, да цветами, да всякими пристройками, а тропки желтеньким песком усыпаны, а в глубине сада – терем. Вот раньше Бенедикт не боялся, а тут забоялся: никогда он такого благолепия и богатства не видывал. Сердце в груди заколотилось, а хвостик из стороны в сто-

рону: туда-сюда, туда-сюда – замахал. И в глазах притемнилось. Не помнил, как его и в дом-то ввели под белые руки.

Вот холопы-то его ввели да в палате одного и оставили. Сколько-то времени прошло – вроде зашуршало за дверями. Зашуршало, двери отворились – и выходит Сам. Папенька Оленькин. Добра этого хозяин. Тесть будущий.

Заулыбался.

– А добро пожаловать. Ждем. Бенедикт Карпыч? А меня звать Кудеяр Кудеярович.

И смотрит. И Бенедикт смотрит. А сдвинуться не может – ноги будто к полу приросли.

Росту Кудеяр Кудеярыч большого, али сказать, длинного. И шея у него длинная, а головка маленькая. Поверху головка вроде лысоватая, а окрай плечи – волос венчиком, бледный такой волос, светленький. А бороды нет, один рот длинный, как палочка, и углы у него вроде как книзу загибаются. И он этот рот то приоткроет, то призакроет, будто ему дышать непривычно, дак он по-всякому пробует. А глаза у него круглые и желтые, как огнецы, и на дне глаз вроде как свет светится.

Рубаха на нем белая, просторная, враспояску. Порты широкие, книзу-то пошире. На ногах – лапти домашние.

– Что встали, Бенедикт Карпыч? К столу прошу.

И под локоток в другую горницу подталкивает. А в другой горнице стол накрыт. И-и-и-и-и! – чего только нет на столе на том! От одного края до другого – миски, миски, блюда всякие, котлы да тарелки! Пирожки без счету, блины-оладьи, пампушки витые, кренделя, вермишель разноцветная! А гороху! а из хвощей снопы сделаны да по углам расставлены! а грибы! – цельные тазы и с нависанием: сейчас через край поскачут. А птички цельные, махонькие, в тесто завернуты: с одного конца ножки торчат, с другого – головка! А посереде стола – туша мясная: никак козляк! Цельного козляка на стол потратили, а ведь того козляка еще поди вырасти! А знать, правильно у него гостинцы отобрали: куда ему со своими мышами да супротив козляка!

А за столом Оленька сидит, нарядная, зарумянившись, и глазки потупила; вот как она Бенедикту в видениях представлялась, так и сидит: блуза на ней белая, шейка бусами обмотана, головка гладенько причесана, на лбу лента! А как Бенедикт в горницу взошел, так Оленька еще больше раскраснелась, а глаз не подняла, только сама себе улыбнулась.

Страшно!

А с другой стороны горницы еще одна дверь отворилась, и входит теща. Али сказать, всплывает: баба толщины необъятной, половина уж в горнице, здороваается, а другая половина еще и в двери не вошла, ждать надо.

– А это, – тесть говорит, – супруга наша, Феврония. Роду стариннейшего, из французов.

– Така у нас семейная легенда, – говорит теща.

Бенедикт теще в ножки упал, рукой поклон отмахнул, другой рукой букет колокольчиков сунул.

– Кушанья стынут, – говорит теща. – Откушайте, не побрезгуйте.

Сели за стол, на лавки. Бенедикт напротив Оленьки, тесть с тещей по бокам.

– Накладывайте, – теща говорит.

Бенедикт опять заробел: как себя держать-то? Ежели он себе много наложит, подумают: о, какой зять прожорливый! Такого небось не прокормишь! А если мало возьмешь, подумают: о, какой зять слабосильный! Небось и гвоздя не забьет. Пирожок, что ли, взять. Потянул руку к пирожку, и все на эту руку посмотрели. Отдернул.

– Мы любим много кушать, – теща говорит. Наложила себе. И Кудеяр Кудеярыч наложил. И Оленька. Бенедикт опять руку потянул – к оладьям, и все раз! – и посмотрели. Опять отдернул.

Жуют.

– Стало быть, – говорит тесть, – жениться хотите.

– Хочу.

Опять молчат да жуют. Бенедикт в третий раз думал чего-нибудь себе на тарелку наложить, только руку приподнял, а они опять – глядь!.. И у тестя в глазах будто огонь какой блеснул. Что такое...

– Жениться – дело сурьезное... Я вот, когда на супруге своей Февронии женился, так ей и сказал: это дело сурьезное.

– Да, мы на свадьбе много поели, – теща.

– Хорошо поели на свадьбе, – тесть.

Намекают они, что ли? У Бенедикта хвостик от волнения стал легонько об лавку постукивать.

– Почему плохо кушаете? – теща опять.

Ай, была не была. Руки вытянул, козляка ножку отхватил, на тарелку себе плюхнул, и еще вермишели сверху. И хвощей взял. И как он это сделал, так вдруг у них у всех в глазах-то опять будто свет какой мелькнул, как все равно луч.

– Стало быть, к семейству нашему присоединиться желаете. – это тесть.

– Желаю.

– Трудностей семейных не боитесь? Хозяйство вести – не бородой трясти.

– Не боюсь. Я на всякое дело сподручный.

– На всякое?

– Ага.

Тут под столом чего-то прошуршало. Мышь, должно быть.

– Ну а ежели дело очень сурьезное?

– Готов. Пожалуйста.

– О как.

Тут за столом вроде бы опять чуток светлее стало. Бенедикт себя пересилил, глаза поднял, посмотрел – а у тестя в глазах, точно, чего-то светится. Как если б огнец через себя огонь пропускал. И в горнице – вечер уже смеркаться начал – от этих глаз лучи исходят. Вот как от лучины, если на нее через кулак смотреть: кульком кулак свернуть и смотреть. Как дорожка лунная. Смотрит тесть в свою тарелку, а все, что в ней наложено, и в сумерках видать. Смотрит на стол – и как огнем шарит, освещает. На Бенедикта посмотрел – еще больше свету подпустил, так что Бенедикт отморгнулся и головой дернул.

А Оленька тестю:

– Папенька, контролируйте себя.

Бенедикт покосился вбок – такие же лучи теща пускает. И Оленька. Но послабже.

И опять под столом прошуршало. И хвостик у него забился пуще прежнего.

– Вы себе побольше накладывайте, – говорит теща. – У нас вся семья очень много кушает.

– Стариннейшего роду, из французов, – подтвердил тесть.

– Вермишельки еще возьмите.

– Благодарствуйте.

– Но а мыслей у вас каких неподходящих не водится? – опять тесть.

– Каких мыслей?

– Всяких мыслей неподходящих – своеволия али злоумышления какого...

– Никаких таких мыслей у меня не водится, – испугался Бенедикт.

– Ну а насчет душегубства как?

– Какого душегубства?..

– Мало ли... А не думается ли: вот женюсь, да тестя с тещей изведу, да сам себе все их добро и заберу?..

– Вы что?..

– Нет?.. А не думается ли: вот бы их загубить, а самому на их место засесть да день-деньской яства кушать?..

– Да что же вы это такое говорите?.. Да с чего?.. Кудеяр Кудеярыч?! Да я...

– Папенька, – Оленька опять голосок подала, – контролируйте себя.

А под столом опять что-то заскреблось – ну просто вот совсем рядом. Бенедикт не выдержал, локтем кусок хлеба нарочно со стола спихнул, и нагнулся, будто поднять. А под столом – ноги тестя в лаптях. А сквозь те лапти – когти, длинные такие, серые, острые. И теми когтями он пол под лавкой скребет и уже наскреб целую горку – лежит как все равно волосы али солома какая кудрявая, светлая. Посмотрел – и у тещи когти. И у Оленьки. У Оленьки поменьше будут. Кучка под ней поменьше наскребана.

Бенедикт ничего не сказал – чего тут скажешь? Взял и оторвал себе еще козляка кусок. И хвощей цопнул – много. Очень много.

– Но а скажите, – тесть продолжал, – а не приходят ли такие мысли: дескать, не так живем, неправильно жизнь наша устроена?..

– Нет, не приходят.

– А не приходят ли мысли: найти виноватого да и удавить его али в бочку головой?

– Не приходят.

– А то хребтину переломить али с башни оземь сбросить?..

– Нет, нет!

– А что это так стучит-то? – Теща голос подала. – Вроде стук какой?..

Бенедикт быстро под себя руку сунул и хвостик зажал.

– А не приходят ли мысли: дескать, мурзы во всем виною, а скovyрнуть их?..

– Нет!!!

– А Самого-то Набольшего Мурзу никогда скovyрнуть не замышлялось?..

– Нет!!! Нет!!! Не понимаю вашего разговору!!!

– Как же не понимать?.. Самого-то Набольшего Мурзу, говорю, Федора Кузьмича, слава ему, скovyрнуть мечтаний не было?..

– Кудеяр Кудеярыч!!!..

– Контролируйте себя, папенька...

– Ну хорошо... А вот чего покажу...

Тесть из-за стола встал, в другую горенку сходил и – книгу выносит. Старопечатную. Бенедикт обе руки под себя заложил и крепко там держал.

– Чего покажу... Это видел?

– Никогда!!!

– А что это, знаешь?

– Нет!

– А если подумать?

– Ничего не знаю, ничего не видел. Не слыхал. Не понимаю, не хочу, не мечтал.

Тесть книгу на коленях разложил, свет на нее пустил и страницы переворачивает.

– Хочешь такую?.. Подарить тебе?.. Хорошая!..

– Ничего не хочу!!!

– А жениться?..

Жениться!.. Бенедикт чуть не забыл, – от страха, тоски, непробудного позора, зажатого в кулачках под туловом, – что ему жениться надо. Жениться! – как ему и в голову-то это дело прийти могло! Вознесся, дубина, пес приبلудный! Мало ему было Марфушки, Капитолинки, Верки Кривой, Глашки-Кудлашки да и других многих! Ишь на какую девушку размахнулся: глазки долу, личико белое, коса в пять аршин, подбородок с ямочкой, на ногах когти! Бежать! Право, бежать – котомку за плечо да и бежать, на восход ли, на юг ли, без оглядки, до самого до Море-окияна, до синего простора, до белых песков!

А Оленька глаза подняла, да свет-то глазами пустила, красноватый такой, слабенький, словно ложный огонек на темном стволе повернулся, да бровки-то возвела под самую ленту, да усмехнулась красным ротиком, да блузу белую свою на грудях оправила, да плечиком повела:

– Экий вы, папенька, шалун неумный. Все уж промеж нами сговорено. Обнимайте зятя.

– Так... Сговорено. За папенькиной спиной сговорились... Папенька день-деньской трудится, рук не покладает... Все хочет как лучше... Всех насквозь вижу! – крикнул вдруг тесть.

– Право, папенька... Не вы один такой...

– Не нашей он породы! – крикнул тесть.

– Папенька, вы не на службе!

– А что за служба такая? – прошептал Бенедикт.

– Как что за служба? – удивилась теща. – Ужли не знаете? Кудеяр Кудеярыч у нас – Главный Санитар.

Покой

На работу Бенедикт ходить бросил. А зачем? Все равно пропадать. На его счастье, тут и лето настало, писцам отпуск вышел. А не то забрали бы его на дорожные работы, как Праздношатающегося. Пора уж было репу сажать, да тоска навалилась такая, что никакого прежнего к репе настроения у него не было. Сходил в дальнюю слободу, купил у голубчиков гонобобелю. Нюхал. Не сильно полегчало. На лежанке лежал. Плакал.

К Никите Иванычу ходил, Пушкина из бревна помаленечку резал. Головка у идола уже круглилась, большая, как котел. Унылая. Нос на грудь свесился. Локоть торчал, как просили.

– Никита Иваныч. Как вы сказали, хвост-то этот называть?

– Атавизм.

– А какой еще атавизм бывает?

– М-м-м... Женщины волосатые.

– А когти?

– Не слышал. Нет, наверно.

К Марфушке думал сходить. Передумал. Шутить скучно было, а в воплях ее да оладьях не было уж того интересу.

Сходил к дому, где Варвара Лукинишна жила. Посмотрел через забор. Белье на веревках висит. Во дворе желтунчики выросли. Не зашел.

Ржави выпил бочки три, хотел забыться. Так и ржавь в голову не взошла, зря живот надул. Уши – да, уши как бы слегка оглохли, это да. Взор тоже помутился. Но в голове ясность невозможная, али сказать, простор, и в просторе – пусто. Степь.

Хотел котомку собрать – и на юг. Палицу вырезать большую – от чеченцев отбиваться – и к морю. А какое то море – кто знает. Кто как хочет, так его себе и представляет. Пешего ходу, говорят, три года. А Бенедикту так представлялось: выходит он на высокую гору, а с нее окрест далеко видать. Смотрит вниз, – а там море: вода большая, теплая, синяя и вся плещет, вся-то она играет да плещет! А волна по ней бежит мелкая да кудрявая, с белым завитком. А по морю тому все острова, острова – как шапки островерхие. Да все зеленые, да той зеленыю аж кипят. А по зелени – сады цветные, невиданные. А в тех садах растет дерево Сирень, про которое матушка сказывала. А цветки у той Сирени как кипень синяя, колокольцами, до земли свисают, на ветру полощутся. А на самом на верху, на макушке у тех островов, – города. Стены белые, каменные, опояской. А в стенах ворота, а за воротами дорога мощеная. А по дороге на гору пройти – и будет терем, а в тереме – лежанка золотая. На той лежанке – девушка, косу расплетает, один волос золотой, другой серебряный, один золотой, другой серебряный... А на ногах у ней когти... Вот она когтем-то зацепит... когтем-то...

...А то хотел на восход. Идешь, идешь... травы все выше да светлее. Солнце всходит да сквозь них светом своим просвечивает... Идешь себе, ручейки малые перескакиваешь, речки вброд переходишь. А лес все путаней, как тканое полотно, а жуки так и выются, так и жужжат. А в лесу поляна, а на поляне цветок тюльпан – красным ковром всю поляну укрыл, так что и земли не видать. А на ветвях-то хвост белый, резной, как сеть кружевная, то сойдется, то опять распухнет. А поверх него того хвоста хозяйка – Княжья Птица Паулин, глазами смотрит, сама на себя любит. А рот красный, как тюльпан. А говорит она ему: «Здравствуй, Бенедикт, сокол ясный, проведать меня пришел?.. А нет от меня вреда никакого, а ты это знаешь... Иди сюда, Бенедикт, целовать меня будем...»

...Не пошел ни на юг ни на восход. Вроде и ясность в голове, а вроде и тупость какая. Собрал котомку, а потом опять разобрал, смотрит: чего я туда наложил-то? Ножик каменный, которым Пушкина резал. Другой ножик. Долото. Гвоздей зачем-то взял деревянных. Зачем

ему на юге гвозди? Вынул. Штаны запасные, еще крепкие, почти без заплат... Миску, ложку уложил. Вынул. Что из них есть-то? Как еду варить? Без огня?

Никуда без огня не уйдешь.

Вот бы Никиту Иваныча с собой взять... Шли бы вдвоем, беседы беседовали. Ночью – костерок. Рыбки наловить, если не ядовитая – супчик сварить...

А только далеко не уйдешь. Хватятся его. Как у кого печь погаснет, сразу хватятся. Забегают: Никита Иваныч!.. Подать сюда Никиту Иваныча!.. Да и Бенедикта хватятся. Догонят, по шеям накладывают, белы руки за спину заломят: пожалуйста жениться! Жениться, жениться!..

А то, может, и правда: жениться? Ну что когти? – когти постричь можно. Можно постричь... Не в том дело... Человек – он не без изъяну. У того хвост, у того рога, у того гребень петушиный, чешуя, жабры... Морда овечья, да душа человеческая. А только не так он хотел... Думал по саду-огороду гулять, цветки колокольчики вместе нюхать. Завести разговор какой сурьезный, про жизнь али про природу, чего в ней видать... Стихи припомнить какие...

Но крепче за спиной рука,
Тревожней посвист ямщика,
И сумасшедшая луна
В глазах твоих отражена.

А она чтоб дивилась да слушала. Глаз не сводила. А вечером мышку поймать, в кулачок спрятать и игриво так: ну-к, мол, что это у меня тут?.. Отгадай?.. А она эдак покраснеет:

– Контролируй себя, сокол ясный...

А то на работу вернуться. Книжицы переписывать. Вытянешь шею – и переписываешь... Интересно... Чего там еще люди в книжках-то делают?.. Поехали куда... Али убивают друг дружку... Али любовь какую чувствуют... И-и-и-и-и, сколько их, людей этих, в книжках-то!.. Переписываешь да переписываешь. Потом на палец плюнул, свечу загасил – и домой... Придет осень, листья с деревьев осыплются... Снегом покроется земля... Заметет избу по самые окна... Зажжет Бенедикт мышиную сальную свечку, сядет за стол, подопрет голову рукой, пригорюнится, глядя в тощий огонек: темные бревна над головой, вой снежных пустошей за стенами, вой кыси на темных ветвях в северной чаще: кы-ысь! кы-ысь! Так завоет, будто ей не дали чего, будто нет ей жизни, если не выпьет живую душу, нет покоя, голодом свело кишки, и мотает она незримой головой, и вытягивает незримые когти, шарит ими по темному воздуху, и причмокивает холодными губами, ищет теплую человеческую шею – присосаться, упиться, наглотаться живого... Мотает она головой, и принохивается, и почуяла, и соскочила с ветвей, и пошла, и плачет, и жалуется: кы-ы-ысь! кы-ы-ысь! И снежные смерчи поднимутся с темных полей, где ни огонька над головой, ни путника на бездорожье, ни севера, ни юга, только белая тьма да метельная слепота, и понесутся снежные смерчи, и подхватят кысь, и полетит над городком смертная жалоба, и заметет тяжелым сугробом мое слабое, незрячее, захотевшее пожить сердце!..

...Оленькина семья к свадьбе готовится. На осень назначено. Жить, говорят, к нам передешь. Отъешься, сил наберешь, а там и к делу тебя пристроим хорошему. Какие у них могут быть дела, у санитаров... И думать не хочется...

...Пушкина, что ли, опять пойти подолбить. У Никиты Иваныча, у старика, сейчас две мечты дурацкие: Бенедикту хвостик обрубить да пушкина на перекрестке воздвигнуть, на Белой Горке. Дался ему этот пушкин. Дрожит над ним, и Бенедикту дрожать велит, вроде как благоговеть. Много, говорит, он стихов понаписавши, думал, не зарастет народная тропа, дак только если не пропалявать, так и зарастет. Вон, говорит, что Федор Кузьмич-то, слава ему, вытворяет: сел на книжки сиднем, да с них и переписывает. Народную тропу мусорит. Всю славу себе хочет, а это мараль. Это нехорошо. Понимаешь ты, Бенедикт, что это нехорошо?

А мы с тобой, юноша, идола воздвигнем на перекрестке, и это будет наш вызов и протест. Работай себе вдохновенно и истово, а если я иногда покричу, то на мои филиппики внимания не обращай. А как из бревна ручка-то с пальчиками показалась, так Никита Иваныч руками всплеснул: талант у тебя, Бенедикт, право, талант! Вот тут еще маленечко подрежь. Пушай он у нас стоит головку склонивши, слушает, как мышь шуршит, как ветерок повеваает, как жизнь идет себе куда-то, все идет да идет, да все идет да идет, день за днем!.. День за днем!..

...Лето в пышный цвет облоклось, дни длиннее стали. Пушкин уж на кафтан пошел. Днем Бенедикт пушкина тюкал, к вечеру щепки – на растопочку, супчику разогрели, похлебали и на крыльцо – курить. Куришь, вздыхаешь, вдаль смотришь, голова ничем не занята: опять в ней видения завелись.

Вот опять, об вечернюю пору, как заре желтеть да гаснуть, как туману собираться в низинах, первой звезде выходить на небо, древянице из дубравы мякать, – об эту пору опять стала Бенедикту Оленька представляться. Вот сидит он на крыльце, курит, смотрит, как небо гаснет; вот уж воздух синий становится, холодный; тишина подступает, как если б одеяло кто на уши наложил. В траве прошуршало – и опять тишина. Понизу все синим-синё, аверху ровно, желто светится, догорает; а по желтому то розовым мазнет, то, глядь, серое облако веретеном протянется, повисит-повисит, малинову кромку поверху себя пустит, да и померкнет, и нетути его. Будто кто пальцами водит, зарю размазывает.

А из сумерек опять Оленька выступает, словно в воздухе нарисованная. Сама чуть светится как огонь, а сквозь нее все видать, слабенько так, темненько. А головка у ей гладенько причесана, а пробор светится. А личико у Оленьки белое-белое, не шелохнется; а шея в дюжину рядов бусами спеленута, до самой ямочки на подбородке; и на лбу, и на ушах все бусы, бусы, висюльки тож. А глазищи у Оленьки вполлица, поверху ажно под брови подходят, по сторонам до самых до висков, сами темные, а сами блестят, как вода в бочке в полночь. А глядит она этими глазищами в самую твою серединку, так глядит, будто чего сказать хочет, а нипочем не скажет. И смотрит, и глаз с тебя не сводит, и словно усмешается, али вопроса ждет, али словно щас запоет, рта не раскрывши. А рот у ей, у Оленьки, красный, а сама белая, а от виденья от этого таковая жуть, будто не Оленька это, а сама Княжья Птица Паулин, да только не добрая, а словно она убила кого и рада.

И такой морок на Бенедикта найдет, словно он гонобобелю нанюхавшись. Ноги, седалище словно морозом обметало, а в пальцах будто звон какой и мурашки. И в грудях, али сказать в желудке, тоже звон, глухой такой, словно кто туда каменное ведро вторнул, пустое. А морок этот, на Оленьку похожий, ресницами поведет и опять смотрит, а глазищи у него еще больше стали, а брови союзные, черные, а меж бровей камушек, как слезка лунная.

Чего она от него хочет, проклятая?..

Этот пушкин-кукушкин тоже небось жениться не хотел, упирался, плакал, а потом женился – и ничего. Верно? Вознесся выше он главою непокорной александрийского столпа. В санях ездил. От мышей тревожился. По бабам бегал, груши околачивал. Прославился: теперь мы с него буратину режем.

И мы ничем не хуже. Так? Ай нет?

– Иммануил Кант, – наставлял Главный Истопник, – и тебе, склонному к философствованию, полезно это имя запомнить, – Иммануил Кант изумлялся двум вещам: моральному закону в груди и звездному небу над головой. Как сие надо понимать? – а так, что человек есть перекресток двух бездн, равно бездонных и равно непостижимых: мир внешний и мир внутренний. И подобно тому как светила, кометы, туманности и прочие небесные тела движутся по законам, нам мало известным, но строго предопределенным, – ты меня слушаешь? – так и нравственные законы, при всем нашем несовершенстве, предопределены, прочерчены алмазным резцом на скрижалях совести! огненными буквами – в книге бытия! И пусть эта книга скрыта от наших близоруких глаз, пусть таится она в долине туманов, за семью воротами,

пусть перепутаны ее страницы, дик и невнятен алфавит, но все же есть она, юноша! Светит и ночью! Жизнь наша, юноша, есть поиск этой книги, бессонный путь в глухом лесу, блуждание на ощупь, нечаянное обретение! И наш поэт, скромный алтарь коему мы с тобой воздвигаем, знал это, юноша! все он знал! Пушкин – наше все: и звездное небо, и закон в груди!

– Ладно, – сказал Бенедикт. Бросил окуроч, затер лаптем. – Хрен с вами, Никита Иваныч. Рубите хвост.

И лег поперек лавки.

Рцы

Зверинец у тестя большой, почитай целая улица, а по сторонам все клетки да загоны. Спервоначалу хлев просторный, в том хлеву стойла, а в стойлах перерожденцы. Волосатые, черные – страсть. Вся шерсть по бокам в колтуны сваливши. Морды хамские. Кто о прутья бок чешет, кто пойло из жбана лакает, кто сено жует, кто спать завалился, а трое в углу в берестяные карты дуются, переругиваются.

– Ты что, опупел, с бубей ходить?

– А ты помалкивай!

– Ах так, значит. А вот тебе подкидон!

Тесть недоволен, когтями поскреб.

– Опять играем? А стойла не чищены!

Перерожденцы – хоть бы хны.

– Не бе, хозяин! Все будет чики-чики. Ходи, Валера.

– А вот мы вам козырного!..

Тесть заругался, повел Бенедикта дальше.

– Скоты... Бездельники... Я тебе, зятек, Терентия дам, он потише будет. Гляди только не перекармливай. Хотел Потапа тебе, да он норовистый. Узду грызет, хамит... Так... Тут козляки. Энтих вон на мясо держу. Энтих на шерсть. С них джерси знатное, теплое. Бабы любят.

– Чего это: джерси?

– Такое вязаное. Тута у нас куры. Тута я вольер построил, зайцев держу.

– Эвона как!..

Бенедикт голову задрал – точно: клетка из прутьев плетеная, высокая-превысокая; в клетке цельное дерево растет, а на самой на верхушке – гнездо, а в гнезде, точно, зайцы. Вот один хвост высунул, помахивает. Будто дразнится. А Бенедикту теперь и помахать нечем. И кобчик саднит... И дальше, рядами, все клетки, клетки... А тесть идет себе, направо-налево рукой тыкает:

– Тута тоже курьезы у мене. Живность всякая. Без обеда не сидим. У мене птицеловы цельный день в лесу сидят, полны силки приносят. Воробьятки, соловьятки в пироги хорошо. Супруга моя, Феврония, до них охотница. Не всяку птицу, конечно, есть можно. Спервоначалу на холопах проверяем. Анадьсь споймали птичку таку махоньку, красненьку, глазки бусинками; и пахнет вкусно, и голосишко такой приятный. Хотели в маринад, а опосля призадумались: дай-к холопу скормим. Он ее кусь, да и об пол хрясь, да и дух вон. Смеялися!.. А если б мы?! то-то!.. С природой глаз да глаз нужен!

Вот еще клеть, а в ней тоже дерево, с дуплом, мшистое такое.

– А тут чего? Никого не видать.

– А... Тут древяницу держу.

– Древяницу споймали?!?!

– Ага. Она в дупле хоронится.

– Во как...

Тесть кнут поднял, которым он перерожденцев-то охаживал, между прутьев просунул и по стволу постучал.

– Древяница! Вылазь!.. Вылазь, кому сказал!..

Молчит. Не хочет.

– Вылазь, говорю, сукина дочь!!! – Тесть кнутовищем в дупло тыкнул.

И точно – быстро выглянула, мелькнула как тень и назад головку спрятала.

– Видал? – обрадовался тесть.

– Чудеса... – обомлел Бенедикт.

– То-то. Эту в суп хотим. Так... Чего ж тут еще?..

А в клетях и плетенках все свиристит, кулдычет, перепархивает – что твой лес. И там вон на веточке соловьяток дюжина, как мышки. И там, глядь, синее перо мелькнуло. И в дальней клети тоже дерево голое, обьеденное, без коры, и с того дерева сук торчит, голый тож, и на суку чего-то висит, белое, мягое, дырчатое, как ветхая простынь.

– У меня всего запасёно... То-то, зятек! Летом ли, зимой – полная чаша. Пойдем амбары покажу.

Показал амбары, где хлебада хранится, садки рыбные показал, огороды. Хозяйство крепкое – не то слово. Бенедикт и не думал, что такое богатство на свете водится. Теперь, стало быть, и он добру этому вроде как хозяин?! Хорошо!

Право, хорошо оно обернулося, грех жаловаться. Еще боялся чего-то... Чего боялся? Ничего такого уж страшного. Семейство дружное, за стол вместе садятся. Стол каждый раз от стены до стены яствами уставлен, а все до крошки съедают, Бенедикту за ними не угнаться.

Теща, конечно, больше всех себе накладывает, али, как Кудеяр Кудеярыч высказал, лидирует. За ней тесть, опосля – Оленька, ну а уж Бенедикт в хвосте плетется, сколько ж они над ним смеялись! Но по-доброму.

А берем не что ни попадя, а все по порядку. Спервоначалу на пирожки налегаем. Штук сорок в рот себе побросаем, один за другим, один за другим, как горох. После – черед оладьям. Энтих тоже без счета. После папоротом закусим. Разогревшись, к супу перейдем. Тарелок пять откушавши, скажем: – Ну-ка, вроде аппетит проклюнулся! – тогда уж черед мясу. После мяса – блины: сметанкой полить, грибышей поверх шмякнуть, трубочкой свернуть и – господи, благослови! Жбан блинов-то и усидим. Потом, конечно, жамки сладкие с толчеными огнецами, ватрушки, пышки, а после – сыр и фрукты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.